

ISSN 0207—4001

ДаугавА

1

1991

Уважаемые читатели!

Этот номер журнала мы выпускаем в чрезвычайной для нас ситуации — редакция лишилась своей многолетней полиграфической базы, рижского Дома печати, откуда вместе с редакциями других изданий (кроме коммунистических) практически была выдворена в начале января. Дело в том, что коллектив Дома печати и правительство республики решили создать на базе издательства и типографии акционерное общество, предложив прежнему безраздельному владельцу — КПСС — четверть всех акций. Компартия, до сих пор получавшая большую часть прибылей от не принадлежащих ей газет и журналов, с таким решением не согласилась. Возник имущественный спор. В качестве решающего аргумента в этом споре коммунисты выбрали автомат. 2 января редакционный корпус и производственные помещения были захвачены вооруженным отрядом милиции особого назначения. Конфликт перешел в новую плоскость — в ход пошли угрозы, обыски, унижительные досмотры и даже избиения. ЦК компартии Латвии решил прибегнуть к языку диктата и усмирить взбунтовавшихся «батраков». Впору было создавать «Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов». Но не тут-то было: прежде всего рабочие-полиграфисты, а затем и журналисты отказались работать под дулами автоматов и ушли из Дома печати.

Сегодня все создававшееся годами газетно-журнальное дело в Латвии находится под угрозой вымирания. Культуре нанесен невосполнимый ущерб.

Вот почему наш журнал превратился — временно, мы убеждены в этом — в тоненькую тетрадку: исчезли многие рубрики, не увидят свет целый ряд подготовленных к печати материалов. Мы все же выходим благодаря самоотверженности, солидарности и товарищеской помощи полиграфистов типографии «Рота». Спасибо им за это. Надеемся, что читатели «Даугава» поймут ситуацию, в которой очутился журнал, и проявят выдержку, терпение и доброжелательность.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (зам. главного редактора), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕИЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН.

Редакция:

Михаил АФРЕМОВИЧ, зав. отд. писем, Григорий ГОНДЕЛЬМАН, зав. отд. критики, Леонид ГУРЕВИЧ, редактор-стилист, Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ, зав. отд. прозы, Илан ПОЛОЦК, зав. отд. публицистики, Борис ПОПОВ, п. о. отв. секретаря.

ДАУГАВА

ЯНВАРЬ (163)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
г. РИГА

В НОМЕРЕ:

Проза

Марк Алданов. Бред. Роман о шпионах . . . 2

Публицистика

Борис Шапгалов. Рифы 42

Леонид Баткин. Цена распада 48

Обзоры, размышления, рецензии

Зеев Бар-Селла. «Тихий Дон» против Шолохова. Продолжение 53

Мемория

Маргарита Павлова. «Петербургский дневник»
З. Н. Гиппиус 63

Зинаида Гиппиус. История моего дневника 67

Почта «Даугавы»

Два письма на одну тему 41 и 80

1

1991

БРЕД

I

Дом был новенький, только что отстроенный в одном из западных кварталов Берлина при помощи разных обществ с малопонятными названиями вроде Де-Ге-Во или Бау-Ге-Ма, на деньги, полученные по плану Маршалла. Квартира Шелля была небольшая, всего из двух комнат. В кабинете, освещенном венецианской люстрой, было много книг, были две картины, — «как будто недурные, но без подписи не скажешь», — были старинные часы с фигурами — «что-то мифологическое?», — был резной шкафчик с фарфором. «Никак не похоже на кабинет знаменитого разведчика, — думал полковник. — Зато сам он именно таков, каким должен быть... Играет хорошо, хотя ничего особенного в его игре нет. Я сам, пожалуй, играю не хуже».

— У меня триплет: три короля, — сказал Шелль, открывая карты.

— У меня четыре валета, — ответил полковник. — Вам не везет. Мне говорили, будто вы в последний месяц проиграли в игорных домах Берлина чуть ли не сорок тысяч марок?

— У вас осведомленные друзья, — сказал Шелль, делая вид, будто подавляет зевок. — Однако на сегодня действительно довольно.

Замысел этой повести дал автору случайное, разделенное годами, знакомство с двумя разведчиками разных национальностей (один — весьма неясной; другой же написал о своем прошлом более или менее правдивые воспоминания). По всей вероятности, оба они никак не типичны. — Разумеется, автор взял у них лишь некоторые черты и существующих в действительности людей не изображал.

Он вынул бумажник и отсчитал ассигнации.

— Кажется, так, но, пожалуйста, пересчитайте, я мог ошибиться.

Полковник, не считая, сунул деньги в карман.

— Вас подвела эта последняя ставка.

— Та же самая игра раз случилась с Людовиком XIV. Великий король не любил проигрывать, нередко мошенничал в игре и при большом проигрыше часто отделялся шуткой. В ту пору играли в какую-то игру, напоминавшую наш покер. Ставка была огромная, король проигрывал, и ему не очень хотелось платить. Он сказал победителю: «У меня три короля, но, включая меня самого, это составит четыре. Я выиграл». «Ваше величество проиграли, — хладнокровно ответил придворный, — у меня четыре валета, но, включая меня самого, это составит пять».

— Кажется, в ту пору мошенничали чуть ли не все?

— Это случается и теперь. Дело нетрудное. Хотите, я вам покажу, как это просто? — сказал Шелль. Он собрал карты, долго их тасовал и сдал снова. На этот раз три короля оказались у полковника, а четыре валета у него.

— Не знал за вами этого таланта, — сказал полковник, смеясь, все же несколько озадаченно. — Вы могли бы его использовать.

— Ни за что. В карты я всю жизнь играл вполне честно... Хотите закусить? У меня есть кое-что.

— Это отчасти зависит от того, что именно у вас есть. Много ли мне, впрочем, нужно? Дайте мне омар Термидор, фазана, крен Сюзетт, бутылку шампанского, и я буду удовлетворен.

— Этого, к сожалению, я вам предложить не могу, но у меня есть пиво, сыр и какая-то из бесчисленных немецких колбас: Weisswurst, Bockwurst, Knackwurst, Leberwurst, Rothwurst. Еще недавно у меня оставался старый Иоганнисбергер, на мой взгляд самое лучшее белое вино в мире. В 1946 году, в пору германской нищеты, я приобрел две дюжины бутылок за десять пакетов папирос «Честерфильд». Продавал не то князь Маттерних, владелец иоганнисбергерских виноградников, не то какой-то субъект, укравший эти бутылки у князя: тогда трудно было разобрать. Не говорите: «как же вам было не стыдно покупать!» Я не слишком брезгливый человек, — сказал Шелль.

Он сидел, развалившись в кресле, заложив ногу на ногу. Лицо его выражало полное удовлетворение жизнью. «Как будто воплощение кейфа! Знаю я твой кейф! Может быть, ты проиграл последнее и теперь в отчаяньи, — подумал полковник. Он никогда не занимался игрой в Шерлоки Холмсы, но наблюдения делал всегда, особенно же в тех случаях, когда нанимал новых важных агентов; старался делать и выводы, впрочем, в отличие от Шерлока Холмса, без малейшей уверенности в их правильности: слишком часто ошибался. — Одевается прекрасно, хотя так следует одеваться человеку лет на десять его моложе. Ему, помнится, сорок два. Он, верно, один из тех людей, которые говорят, что одеваться нужно либо у двух-трех первых портных мира, либо у старьевщика. Покрой английский, но шит костюм не в Англии, там теперь больше нет таких превосходных материй. И не в Соединенных Штатах... Туфли на высоких каблуках, это странно при его огромной фигуре. Уж не хочет ли гипнотизировать людей ростом? Тогда, значит, позер. Не люблю».

Сам полковник был в штатском дорогом костюме, но носил его небрежно, брюки были не выглажены. Молодой племянник полковника Джим весело говорил, что небрежность дяди умышленная и очень персональная. «Вы следуйте примеру Черчилля, дядя: у него рассчитана не только политика, но и шляпа». — «Зачем же мне рассчитывать?» «А зачем рассчитывает Уинни? И вы оба старомодны. Но вы не огорчайтесь, — говорил Джим, — с вас, как со старого военного, и спрашивается тут мало. Президент Эйзенхауэр думает, что умеет носить штатское платье. А Идену, должно быть, смешно на него смотреть, как Айку было бы смешно смотреть на Идена, если б он увидел его в военном мундире. Один я одинаково элегантен в мундире и в штатском». «Ты глуп, Джимми», — говорил полковник. Так обычно кончались их разговоры.

— Давайте, что есть. Когда нет Иоганнисбергера, надо пить пиво; когда нет омара Термидор, надо есть колбасу. Такова моя жизненная философия.

— Она не блещет оригинальностью, однако совершенно справедлива, — сказал Шелль. Он тоже «наблюдал». «Много я их всех видел! Пора бы и перейти к делу. Некоторые из них делают вид, будто у них, как у Наполеона, нет ни одной свободной минуты, и говорят наполеоновским тоном, *отрывисто и кратко*, этот не таков». Ему нравился полковник: и тем, что был очень прост, вежлив, даже приветлив, и тем, что пришел к нему в гости, закусывал с ним и играл в карты, вел себя не как будущий начальник. «Наружность у него искусно обманчивая. Похож на старого провинциального доктора, лечащего бедных пациентов и еще приносящего им лекарства. Доброта, благодушие, непоколебимое спокойствие: в мире все идет превосходно. «Take it easy, don't worry...» В этом огромная сила американцев, сделавшая их самым могущественным народом в мире... Седые волосы, лицо как будто еще молодое, но щеки уже чуть дряблые, с красными жилками. А глаза *настоящие*. Он, быть может, самый замечательный знаток шпионского дела из всех, кого я знал. Сколько трагедий через него прошло!»

— Я сейчас принесу что найду, — сказал он и встал. «Вышел как Эрроль Флинн», — подумал полковник.

В углу комнаты была виолончель. Полковник встал и подошел к книжным полкам. «Так и есть, он *intelligentsia*», — очень не любил это слово, неизвестно как возникшее в России и в чуть-чуть измененном смысле перешедшее в англосаксонские страны. «Фрейд... Юнг... Говорят, он был одно время нервно болен, это не проходит даром и в случае выздоровления. Еще стоит ли с ним связываться? Увидим по первому опыту». На полках были классики, но были и дешевые детективные романы. «Вот и суди о человеке по его книгам. Я видал и таких агентов, неважные были агенты». «Фарфор хороший. Трехцветный Минг! Однако! Видно, были большие деньги или же здесь купил тотчас после войны». В фарфоре полковник знал толк. Сам в молодости собирал коллекцию фарфора, преимущественно старого американского, в своем небольшом имении в Коннектикуте. Этот деревенский дом полковник купил на сбережения и почти никогда в нем не жил: собирался в нем поселиться после выхода в отставку. Хотя он любил деревенскую жизнь, все же отставка за предельным возрастом была его кошмаром: не видел, что будет делать без службы и как заполнит двадцать четыре часа в сутки. Службу свою он

любил чрезвычайно и не находил нужным ее «проклинать», как это часто делают люди.

Кроме фарфора в комнате, на этажерках, на столиках, на письменном столе, было еще множество небольших, замысловатых, в большинстве экзотических, вещиц, — коробочек, шкатулочек, башенок, табакерок, флакончиков, подсвечников. Некоторые были красивы и все были решительно ни для чего не нужны. «Такие вещи покупают нервные, не слишком богатые, но шедрые путешественники...» В другом углу кабинета, против виолончели, стояла горка с гириями. Полковник попробовал одну из них и еле поднял, хотя сам был крепкий человек и много занимался спортом в молодости. «По слухам, он был настоящий геркулес, да это и теперь видно... Еще прибавится номер в моей человеческой коллекции. Запросит, верно, дорого. Впрочем, последнее его дело в Бельгии не удалось. Должен был быть после этого несколько понизить цену».

— У вас много книг на иностранных языках, — сказал он, когда Шелль вернулся с подносом.

— Я в свое время любил читать и теперь медленно разучиваюсь: больше не доставляет удовольствия.

— Вот как? Говорю: на иностранных языках, но, собственно, какие языки для вас иностранные? Вы ведь русский по происхождению?

— Нет.

— Нет? — протянул недоверчиво полковник. — Нет так нет. По-английски вы говорите почти как американец.

— По-французски я говорю почти как француз, по-немецки почти как немец. Но это «почти» — опасная вещь. Вероятно, некоторые из иностранных агентов в России погибли потому, что говорили по-русски «почти» как русские. У меня нашлась еще бутылка водки. Хотите?

— Отчего же нет? Хотя вы не русский, вкусы у вас русские.

— Водку пьют во всем мире. Нет лучше напитка, если не считать шампанского.

Шелль снял кольцо с каким-то редким зеленоватым камнем, сильно хлопнул рукой по донышку, пробка вылетела. Полковник никогда этого не видел и улыбнулся. «Кольцо какой-нибудь «талисман», они почти все суеверны. А такие руки, верно, бывают у душителей!. И брови сросшиеся...»

Они выпили и закусили. Шелль вынул из жилетного кармана трубочку, высыпал порошок в стакан с пивом и выпил.

— Простужены? Или страдаете желудком?

— Так. Легкая лихорадка.

— Давно ли? Я при простуде принимаю добрый старый аспирин.

— Нет, это экзотическое средство.

— Экзотическое?

— Мексиканское. В Мексике есть превосходные лекарства, оставшиеся еще от времени ацтеков.

— Я знаю, что вы недавно ездили в Мексику. Дела?

— Да, были и дела. Главная составная часть называется «Ололиукви», в простонаречии «Ла Сеньорита», а по-ученому, кажется, Turbina согуп-боза. Но входят еще разные другие вещества. Это и снотворное, или что-то в этом роде. Оно дает сон с виденьями. Даже не сон, а какой-то *реальный* бред. Его почти не отличишь от действительности. Я иногда

в этом бреде вижу человека как живого. представляю себе его прошлое, его характер, привычки, тайные и явные помыслы. Это мне иногда оказывало услуги в работе. Я ведь разведчик-психолог. Да и что такое бред? В нашем мире все бред.

— Весьма сомневаюсь. И не совсем себе представляю, что такое «реальный» бред? У меня всегда сны совершенно бессмысленны. На прошлой неделе мне снилось, что Дикий Билль обыграл пророка Иеремию в покер на два миллиона марок и внес деньги в «Дейтше Банк», где их немедленно конфисковали, как имущество неарийского происхождения.

— Это, конечно, не такой сон, какой я назвал бы реалистическим. А кто такой «Дикий Билль»?

— Разве вы не знаете? Таково было прозвище Виллиама Донована, который в пору второй войны руководил нашей контрразведкой. Вы его никогда не встречали? Очень способный человек, хотя и дилетант. Он сделал бы еще гораздо больше, если б его дружно не ненавидели армия, флот, авиация и полиция... Так есть реальный бред?

— Я сам прежде этому не верил. Теперь не только верю, но знаю. Вернее, не реальный, а чередующийся. Реальное незаметно переходит в фантастическое, а фантастическое в совершенно реальное. Это особенность именно «Ололиукви». Читал об этом в медицинских книгах, да мне известно и по опыту. Я все снадобья перепробовал.

— Зачем же вы это делаете? Это очень вредно, — сказал полковник озадаченно и даже почти с беспокойством. — Что в этом хорошего?

— Как что? У вас одна жизнь, а у меня кроме настоящей десять воображаемых. Ведь миром правит воображение.

— В нашем деле пользоваться такими веществами нельзя! — строго сказал полковник. — Быть может, это тот же опиум или гашиш... Так ваши услуги понадобились и в Мексике?.. Какой у вас, кстати, паспорт?

— Точно вы не знаете! Аргентинский.

— Вы очень удачно выбрали себе фамилию. Шеллем может называться кто угодно: немец, англичанин, француз, венгр, русский.

— Я фамилию не выбирал. Это моя настоящая фамилия.

— В нашем мире вы знаменитый человек.

— Моя известность — человек на пятьдесят. А ваша на сто.

— Последняя ваша кличка была граф Сен-Жермен, по имени знаменитого авантюриста XVIII столетия? — спросил полковник, смеясь. — Говорят, у вас было не меньше авантур, чем у него?

— Как, вероятно, у большинства старых разведчиков.

— Да, уж такое ремесло, — сказал полковник. «Может быть, он в душе и считает себя новым графом Сен-Жерменом». — Кажется, до сих пор точно неизвестно, кто он был такой?

— По наиболее правдоподобным предположениям, он был сыном португальского еврея из южной Франции и какой-то французской княгини.

— Вы, верно, о нем много читали?

— Разумеется, уж если мне дали такую кличку.

— Вы были летчиком, вы недурной парашютист. Правда ли, что по физической силе вы могли бы сравниться чуть ли не с Джо Люнсом?

— Нет, это сильное преувеличение. Все же кое-что еще осталось.

Шелль подошел к пирамиде и проделал движения с самыми большими гириями. Проделал их как будто очень легко. «Хочет показать, что не слабеет. Плохой признак».

— Что же вам сообщили обо мне ваши агенты? — спросил Шелль, садясь в кресло. — Расскажите что можете. Я не думаю, чтобы в нашем деле надо было все скрывать и во всем обманывать собеседника. Особенного такого, какого обмануть трудно.

— Я тоже этого не думаю. Так думают только *плохие* разведчики... Что они сообщали? Многое. Разное. В старых романах о вас было бы верно сказано, что вы «человек с опустошенной душой», — тоже весело ответил полковник. Он протянул Шеллю старомодную серебряную папиросочницу. Тот взял папиросу и демонстративно-крепко наложил пальцы на гладкую поверхность.

— Вам, может быть, нужны мои дактилоскопические отпечатки? Вот они.

— Вы, верно, начитались детективных романов. Кроме того, ваши снимки у меня есть.

— А велико мое досье?

— Немалое.

— Может быть, оно еще полнее у полковника № 2.

— У кого?

— Я так называю советского офицера, занимающего в Берлине ту же должность, что вы, по другую сторону Железного занавеса. Курьезно то, что у вас сходство не только в чине, но и в положении. Вы всего полковник, но мне прекрасно известно, что вы в вашем берлинском учреждении едва ли не главный. То же самое относится к нему. Впрочем, у них человек, носящий чин майора в Министерстве внутренних дел, переходит, кажется, в армию с чином генерал-майора. Пользы от тайны и тут немного. Вы отлично знаете, кто он, а он отлично знает, кто вы... Согласитесь, что нет сейчас в мире более интересного города, чем Берлин. Это действительно *das Schaufenster der Welt*. Тут центр международного шпионажа. Я как-то в свободное время пробовал сосчитать, сколько в Берлине иностранных разведок. Дошел до тридцати и бросил считать. Иначе и быть не может: Берлин, да еще Вена, единственные города в мире, где можно в несколько минут с удобствами переехать, хотя бы по подземной железной дороге, из одного мира в другой... Что, безвыходное положение в мире?

— Трудное, но не безвыходное. Безвыходных положений не бывает.

— Бывают, бывают. Хотите послушать радио? Сейчас будут передавать новости.

— Что ж, слушаем.

— Узнаем, верно, много приятного.

II

— Вы, разумеется, понимаете, — сказал полковник, взглянув мельком на Шелля, — что при разговоре с каждым кандидатом на службу к нам, должны ставить себе вопрос: быть может, он двойной агент? Но,

по моему опыту, двойных агентов в настоящем смысле слова почти не бывает: каждый из них всегда предпочитает одну из двух *сторон* и по-настоящему служит только ей. Против таких я лично ничего не имею.

— Быть может, вы таким даже платите больше жалованья, и это естественно.

— Я, например, в принципе ничего не имел бы против того, чтобы наши агенты иногда, в случае крайней необходимости, поддерживали отношения хотя бы с «полковником № 2». Разумеется, при условии, чтобы *по-настоящему* они работали для нас. Мы и платим лучше.

— Не говорите: они, кажется, иногда платят очень хорошо.

— О деньгах мы с вами сговоримся... Вы совершенно свободно переходите в восточную зону?

— Дело нехитрое.

— Как для кого. У вас есть там связи?

— Нет.

— Вы работаете только ради денег?

— Вы говорите так, точно другие у вас работают по убеждению.

— Многие. По убеждению и из патриотизма.

— Бесплатно?

— Разумеется, нет. Людям надо есть и пить.

— Я думаю, в вашем ведомстве, за исключением его верхов, преобладают иностранцы. Может быть, они тоже патриоты, но какого отечества?

— Некоторые работают из мести и из ненависти к правительству своей страны.

— За эти чувства они получают очень хорошее жалованье. Но от меня, надеюсь, вы *вашего* патриотизма не ждете. Не ждите от меня и твердых принципов. Я, можно сказать, профессионал никак не принципиальных дел. У меня аллергия к принципам, а может быть, и вообще к добру. («Типичный фразер!» — подумал, морщась, полковник.) Но уж если мы, против обычая, заговорили о таких предметах, то скажу вам, какой мой вывод из многих лет довольно разнообразной работы в разведке. Среди настоящих разведчиков есть выдающиеся люди. Они обычно сочетают в себе хорошие свойства офицеров с хорошими свойствами... Ну, кого бы назвать? С хорошими свойствами, например, писателей: с пронизательностью, наблюдательностью, знанием людей, фантазией, с умением перевоплощаться в другого человека. Те из них, что служат *своему* отечеству, даже порядочные люди. Судя по тому, что я о вас слышал, да и по моим наблюдениям, вы вполне порядочный человек.

— Очень вас благодарю, — сказал полковник. «Быть может, ты в этом вопросе не слишком авторитетный судья», — подумал он. — Вы говорите о *нашем* ремесле. Мое ремесло с вашим не тождественно. Я работаю за письменным столом, у меня главное: систематизация, сопоставление, критика тех сведений, которые я получаю. Здесь все в добросовестности, во внимании, в терпении. Чистая проза.

— Так думала ваша старая школа. Вы собственно к ней и принадлежите, хотя ее обновили, вместе с генералом Боллингом, и сделали большую карьеру в последние годы. Но это другой вопрос, и он меня не касается.

— Именно.

— Удивит ли вас, если я скажу, что полковник № 2 тоже честный человек, правда, со всячинкой, как они все, и окруженный негодяями. Его положение трудное. Сталину вообще надо докладывать то, что он желает слышать. Неприятных сведений он не выносит, — большой недостаток для главы правительства.

— Это общее место.

— Я не обязался высказывать откровения.

— Но это едва ли верное общее место. Во всяком случае главари московской разведки, как и всех вообще разведок, требуют, чтобы им сообщали правду. Докладывают ли они ее Сталину неподкрашенной, этого я, разумеется, не знаю.

— Подкрашивают. Но и по другим причинам полковник на своем месте не удержится. У них ведь как в переполненном автобусе: стоящие в проходе с ненавистью смотрят на тех, кто сидит.

— Он недурной специалист и старый боевой офицер. В конце войны он командовал полком и был ранен в ногу. Поэтому его и перевели в разведку. Кажется, его так и называют «Крайой», — сказал полковник, как будто старательно и по-иностранному выговорив русское слово. Недурно владел русским языком и скрывал это. — Он член партии?

— Вероятно. Иначе его на такую должность не назначили бы. Но, знаете, у офицеров партийные аксельбанты ровно ничего не значат. Тухачевский тоже был коммунистом. Так вы знаете по-русски?

— К сожалению, только несколько слов. Тшорт, — выговорил полковник, смеясь. Несмотря на существование звука «ч» в английском языке, он произносил «тш». — Сукин сын...

— Приятно слышать... Полковник № 2 не сукин сын. Говорят, он тяготеет своей нынешней службой. Я допускаю, что порядочные люди могут быть везде, но...

— Не везде. В гестапо порядочных людей не было. И в ГПУ нет.

— Но приблизительная химическая формула разведчика такова: 50 процентов любви к деньгам, 20 процентов спортивных инстинктов, 10 процентов глупости, 10 процентов идейных соображений, 10 процентов скуки от пустой или неудавшейся жизни.

— Добавьте известный процент душевной неуравновешенности.

— Да, конечно, морфиноманы, кокаилисты.

— Есть и такие. Точнее, многие становятся морфиноманами, работа трудная. А когда они становятся морфиноманами, то им обычно грош цена. Меня всегда забавляло, что Конан Дойль сделал Шерлока Холмса кокаиноманом. Это доказывает, что талантливый английский писатель ничего не понимал в полицейском деле. «Дедушкин» Шерлока и вообще не очень убедительны, но если бы он был кокаиноманом, то скоро превратился бы в развалину и через год стал бы бездарнее самого доктора Ватсона... Так вы работаете только для денег, — сказал полковник с легким разочарованием. — А я думал, что именно у вас огромный процент «спортивных инстинктов». Граф Сен-Жермен, вероятно, был преимущественно искателем сильных ощущений. Правда?

— Наверное, и в это входили деньги. Были любовь, ненависть, зависть, ревность, вино, политика, спорт, возвышенные и невозвышенные идеи, а где-то во всем этом торчало и золото. Как у большинства людей. Зачем только они это скрывают или отрицают?

«Довольно плоский взгляд», — подумал полковник. У него у самого деньги не занимали большого места в жизни. Дорогое увлечение у него было лишь одно: лошади. В ранней молодости он служил в кавалерийском полку и даже принимал участие в одном из последних кавалерийских дел в истории. Ему было больно, что роль конницы навсегда кончилась. Армия без конницы была для него уже не совсем настоящая армия.

— Не спрашиваю вас, сколько вам предложили англичане. Мы вам дадим больше. Значит, вам все равно, кому служить?

— Не совсем все равно. Есть разные обстоятельства. Например, опаснее служить западному миру, чем восточному. В случае провала у вас судят, а у них просто расстреливают и, что гораздо хуже, до того пытаются.

— Ну, вот видите, некоторую разницу между западным и восточным миром вы признаете: у нас судят и не пытаются. В нашем деле иногда приходится делать кое-что такое, что плохо согласуется с заповедями Моисея. Иначе мы поступать не можем: ведь мы только защищаемся! Надеюсь, и вообще есть разница между строем, основанным на свободе, и строем, основанным на рабстве? Вы этого не видите?

— Разницы не видят только снобы.

— Я слышал, что вы ненавидите советское правительство и имеете для этого и личные основания. В конце концов, это для нас и не столь важно. В нашем деле, как во французском Иностранном легионе, человека о прошлом не спрашивают. Лишь бы он служил *нам* честно, — еще настойчивее повторил полковник.

— Вы, вероятно, хотите доставить меня на парашюте в СССР?

— Мы никого на парашютах в СССР не отправляем, — сказал очень холодно полковник. — И никакими драматическими и страшными делами мы не занимаемся.

— Напрасно не занимаетесь. Если б ваши агенты пятнадцать лет тому назад убили Гитлера, спаслись бы десятки миллионов людей.

— Такими делами мы тем более никогда не занимались, — сказал полковник еще холоднее. — Да и вас я не хочу непременно отправлять в Россию. Вы могли бы действовать как вам было бы угодно. Мы просто хотели бы вывезти из Москвы одного беспомощного человека. Он ученый и никакой политикой не занимается. Нам нужно одно его открытие.

— Дело нелегкое.

— Для *легкого* дела я к вам и не обратился бы.

— Но это особенно трудное. Из России не возвращаются.

— Это сильное преувеличение.

— Вы, наверное, окружены советскими агентами.

— Возможно, но я этого не думаю. У меня провалы бывали чрезвычайно редко. Кроме того, я никому из своих подчиненных о вас не скажу.

— А из ваших начальников?

— Они умеют хранить и не такие секреты.

— «И не такие»? Согласитесь, что для меня этот секрет имеет некоторое значение.

— Мы заплатим очень хорошо. Так как же?

— Я вам дам ответ через две-три недели. Мне надо съездить в Италию. Не «по делам», а так, чтобы отдохнуть.

— Ждать не очень удобно... Конечно, если у вас лихорадка... Она ведь не затяжная?

— Нет, ничего серьезного нет. Я здоров. Просто отдохну в Италии. Люблю греться на солнце.

— Как змеи, — пошутил полковник. — Вы куда поедете?

— Еще не знаю, верно во Флоренцию, — небрежно ответил Шелль. Он собирался на Капри. — Я там приму решение.

— Что же вас, собственно, удерживает?

— Мне просто надоело наше ремесло.

— Вот как? Так вы мне дадите ответ не позднее чем через две недели?

— Если я откажусь, то пришлю вам телеграмму уже через несколько дней. Во всяком случае, я увидаю вас еще до моего отъезда. По другому делу.

— Не о вас? — спросил полковник, насторожившись.

— Нет, об одной даме. Сейчас об этом говорить не стоит... А этот советский изобретатель *хочет* уехать из СССР?

— Он ненавидит советскую власть.

— А не донесет ли он на меня первый?

— Вы примете меры. Я знаю, что дело трудное. Иначе я не ассигновал бы на это больших денег, — многозначительно подчеркнул полковник. — Вы убедите его уехать.

— Конечно, это соблазнительно. Как зовут этого ученого?

Полковник закурил новую папиросу. «Нет гарантии, что он не будет их двойным агентом, — сказал себе он. — Но гарантии не будет, к кому бы я ни обратился. Все же можно *почти* с уверенностью сказать, что этот не донесет. Ему и невыгодно, тогда он был бы конченным человеком! И по всему, что о нем известно, не донесет».

— Как же я могу рисковать чужой жизнью, когда вы еще не дали мне ответа?

— Вы прекрасно знаете, что такой риск неизбежен. К кому бы вы ни обратились, вы ведь должны будете сообщить имя, и вы не можете быть уверены, что этот человек не донесет. А вот я не донесу. Каков бы я ни был, у меня есть свой кодекс чести. Так сказать «Бушидо» японских самураев, — хмуро сказал Шелль. В глазах у него что-то мелькнуло. («При случае может быть страшен, *самурай*», — отметил полковник.) Или, чтобы говорить менее пышно, знаете, есть такие горничные, которые бросают службу в доме, если видят, что от них прячут деньги. Так и я не служу, если мне не верят. Да мне и необходимо знать все о нем. Я всегда начинаю с того, что долго, часто думаю о предстоящей задаче, о людях, с которыми придется иметь дело. Мне необходимо знать все об этом ученом.

— Да я сам почти ничего о нем не знаю... Его зовут Николай Майков, — сказал, еще помолчав, полковник. — Я произношу правильно? Добавлю, что его открытие ни малейшего военного значения не имеет. Оно относится к продлению человеческой жизни, или к чему-то в этом роде.

— Зачем же *вы* его вывозите?

— Разве вам не хочется продлить свою жизнь? — спросил, смеясь, полковник. — Нам тоже хочется. Если вы его вывезете и если его открытие серьезно, то оно во всех подробностях будет опубликовано в научных журналах. Таким образом, русским от него будет не меньше пользы, чем нам и чем всем другим. А вреда не может быть решительно никому.

— Почему же советское правительство само не публикует открытия своего ученого?

Полковник пожал плечами.

— Как мне сообщили, по разным причинам. Во-первых, этот ученый там на очень плохом счету, он несколько раз сидел у них в тюрьме. Во-вторых, его взгляды вообще как будто как-то противоречат их философии, не то Марксу, не то Мичурину, не то научным концепциям самого дяди Джо. В-третьих, они считают его идиотом или сумасшедшим и денег ему не дадут, он к ним и не обращается. Впрочем, я знаю об его открытии еще меньше, чем о нем самом, да если бы и знал, то, верно, ничего не понял бы. Но один наш очень известный и влиятельный биолог сообщил в Вашингтоне, что, по его сведениям, открытие этого русского имеет огромное значение и в надлежащих условиях могло бы дать головокругительные результаты. Мне поручили попробовать помочь ему. Это действительно не входит в мои обычные занятия.

— Всякое бывало. У западных стран было с Россией долгое соревнование в деле вывоза немецких ученых: кто больше вывезет и каких по важности. Тут, вероятно, тоже без разведки не обходилось. А может быть, у вас и вообще были бы рады конфузному для Советов происшествию? Я прекрасно понимаю.

— Вам нечего понимать. («Тут нечего понимать или вообще?» — спросил себя Шелль.) И я уже сказал вам, что мы только защищаемся. Первыми неприятностей никогда не делаем... По получении вашего ответа я сообщу вам все что знаю. А там будет видно, после первого опыта совместной работы. Я отлично знаю, что вы на этого Майкова не донесете. Вы и не способны на это, это было бы очень низким делом, и для вас никак невыгодным: мы об этом тотчас сообщили бы всем возможным работодателям. Говорю так, просто к слову. Прекрасно знаю, что на вас можно положиться... А что же вы будете делать, если бросите разведку? — спросил он, хотя это ему было неинтересно.

— Я начинаю приходить к мысли, что мог бы зарабатывать столько же и даже больше гораздо менее опасной работой.

— Что же, вы станете маклером или лавочником?

— Маклером или лавочником едва ли. В молодости я хотел стать писателем.

— Это видно. Вы говорите очень литературно.

— Литературно говорят не писатели, а адвокаты. А теперь этого стали требовать и от разведчиков. По мнению новой школы, хороший разведчик должен быть блестящим causeur-ом, говорить обо всем о чем угодно и ни единым словом не проговариваться. Стараюсь приравниваться. Писателем же я не стал из-за отсутствия таланта.

— Отчего же вам не закончить карьеру разведчика блестящим делом? Тогда у вас будут и деньги... Я слышал, что у вас недавно была неудача, — полувопросительно сказал полковник.

— Если и была, то не по моей вине, — сердито ответил Шелль. — Да неудачи и не было.

— А хотя бы и была. У кого не было? Не надо оглядываться назад, вспомните о жене Лота, — особенно ласковым тоном сказал полковник. — Будущее другое дело. Вот та сумма, которую мы вам заплатили бы в случае успеха, и помогла бы вам начать более безопасную жизнь. Только я не очень в это верю. Из разведки не уходят... Впрочем, вы можете написать воспоминания или роман. Все разведчики хотя бы напишут воспоминания или роман.

— Я знал даже таких, которые именно для этого шли в разведку.

— Я тоже знал. И сколько плохих книг они написали! Хорошие разведчики книг не пишут. Вы можете стать первым.

— А вы знакомы с полковником № 2?

— Нет, это было бы неудобно и мне, и особенно ему.

— Собственно, почему? Генералы армий, воюющих одна с другой, обмениваются же любезностями. В пору первой Крымской войны английские и французские адмиралы посылали русским в подарок сыр, дичь, и те отвечали им подарками.

— Эти времена навсегда кончились. Кейтеля и Иодля в Нюрнберге повесили.

— Штатские. Генералы-победители были очень этим недовольны. Такой финал действительно портит ремесло, — сказал Шелль. — Так вы согласны подождать две-три недели?

— Что же мне делать? Тшорт, — сказал полковник.

III

В клубе Шелль играл не в покер, а в бридж, и ему опять не везло. Особенно неудачен был последний роббер с неоправдавшимся контрированием партнера. Этот игрок расстроился и, хотя было всего десять часов вечера, объявил, что больше играть не хочет; даже не выдумал приличного предлога. По клубной этике, такое действие считалось недопустимым, но никто не спори́л: новую партию устроить было нетрудно, она тотчас и устроилась.

Шелль в нее не вошел. Из вежливости его звали, однако не очень и с некоторой опаской. Он считался большим мастером, а в клубе одинаково избегали очень сильных и очень слабых игроков. Играл он всегда спокойно, не горячился и даже не принимал участия в обсуждении сенсационных по последствиям заявок и розыгрышей. Этого в клубе тоже не любили. Иногда перед началом игры какой-либо миролюбивый человек предлагал: «Давайте, господа, сегодня играть без всяких ссор и споров, как играют англичане». Все тотчас радостно соглашалось, хотя бывалые люди знали, что так не играют ни англичане, ни, верно, никто в мире, и слава Богу. За игрой не следовало скандалить и выражать — по крайней мере, открыто — сомнение в умственных способностях партнера, но не следовало и молчать как рыба: некоторая доля брани и крика входила в удовольствие, доставляемое клубом.

Кроме того, у нервных людей вызывал неприятное чувство этот гигантского роста человек, с неподвижным каменным лицом, с неторопливыми и, как у очень хороших актеров, *значительными* движениями. Никто не знал его профессии. Одни говорили, что он имеет наследственное состояние и никакими делами не занимается; другие сообщали, что он занимается самыми темными делами; сообщали и без доказательств, и без возмущения, — отчего же не сказать? В клубе, особенно в первые годы после окончания войны, можно было купить и продать все что угодно, от золота и долларов до груза чилийской селитры и виллы в Италии. В промежутке между робберами люди уводили друг друга в сторону, о чем-то взволнованно и яростно шептались. Шелль не шептался ни с кем, это было подозрительно. Никто с ним и не шутил; в редких случаях, когда он проигрывал, никто не отпускал веселых, имевших прочный успех, замечаний на тему: не везет в игре, — значит, везет в любви.

Встав из-за стола, он мысленно подсчитал, что все его состояние теперь составляет тысячу восемьсот долларов. Еще недавно было раз в шесть

больше. «Что ж, оставлю Эдде долларов шестьсот. Она не так жадна, надо отдать ей справедливость. Если и поторгуется, то больше по чувству долга. Если же удастся сплавить ее полковнику № 2, то можно будет дать и четыреста: за месяц вперед, джентльменский расчет».

И только он, взглянув на часы, устроился за маленьким столиком, как лакей почтительно доложил ему, что его в вестибюле спрашивает дама. «Смерть мухам!» — с досадой подумал Шелль. В клуб дамы, по-старинному, не допускались.

— Я сейчас спущусь.

Он неторопливо осмотрел себя в огромном стенном зеркале, — галстук был повязан безукоризненно, ни один волосок не передвинулся в проборе, искусно устроенном так, что начинавшаяся лысина была почти незаметна. Седина в волосах его не огорчала, — гораздо лучше, чем плешь. Шелль прошел через две другие залы. Дому, в котором помещался клуб, повезло. Каким-то чудом он уцелел в пору бомбардировок; находился не в районе Унтер-ден-Линден, не на Иегерштрассе или Кеннигретцерштрассе, как другие клубы, а поблизости от Курфюрстендамма, в западной зоне. Его построили в начале двадцатого века, в лучшее вильгельмовское время, когда не было нигде ни виз, ни безработицы, ни продовольственных карточек; когда слов «валюта» или «инфляция» никто, кроме экономистов, не слышал и, вероятно, не понял бы; когда за мысль о воздушной бомбардировке Берлина человека немедленно признали бы душевнобольным; когда на каждом углу у Ашингера с бело-голубым фасадом можно было за пятнадцать пфеннигов получить сосиски с горой политого уксусом картофеля и огромный бокал пива; когда в «Рейнгольде» одновременно обедало в колоссальной средневековой зале две тысячи человек под угрюмым взглядом Барбароссы; когда в разных Amorsäle лакеи в зеленых ливреях с раззолоченными пуговицами каждый вечер упорно старались усадить гостей за столы с надписью «Reserviert für Champagne».

В доме была огромная мраморная лестница, покрытая мягким ковром, были раззолоченные балкончики с цветами, была даже летняя терраса для отдыха и для солнечных ванн. Здесь и до первой войны помещался клуб; в нем бывали штаатсраты, коммерциенраты, герихтсраты, баураты, шульраты, медицинальраты, ратгеберы, гофлиферанты, видные журналисты и адвокаты. Украшали его когда-то именами и пять-шесть либеральных генералов и баронов, и был даже членом один граф.

От бомбардировок дом не пострадал, только побилась лепная работа на фасаде и были разнесены вдребезги горшочки с геранью. После войны клуб возобновил работу; но прежние клиенты вымерли и теперь тут бывали самые разные люди, иностранцы всех национальностей, должностные лица, новые богачи, разведчики, бывали даже прежние служащие гестапо, давно переменившие наружность, имена, бумаги, державшиеся очень передовых взглядов, но осматривавшиеся по сторонам: нет ли поблизости какого-либо чудом уцелевшего заключенного с выжженным на руке клеймом концентрационного лагеря, — еще мог бы их узнать; впрочем, и в этом случае ничего страшного, верно, не произошло бы, так как все покрыли давность, амнистии и «черт с ними!..». В клубе и теперь был очень недурной ресторан, подделывавшийся не под Париж, как в прежние времена, а под Нью-Йорк: в меню названия блюд давались с английским переводом, и всегда можно было найти, рядом с гусем с яблоками, какой-нибудь Pot Roast Lamb Sandwich with Brown Gravy, Spiced Peach and Fresh Spinach, а в карте вин Mt Vernon 10 yr. Bonded Rye и Old Grand-Dad 8-yr. Bourbon. Полиция не очень интересо-

валась крупной игрой в клубе, так как среди гостей иногда бывали и важные лица.

Эдда сидела в пустом огромном холле в углу, в готическом кресле, у раззолоченной статуи Брунгильды с копьем. «И сама воинственна, как Брунгильда, — подумал Шелль. — Конечно, будет «ужас и фантастика». О чем сегодня?..» Она была в норковой *саре*, ярком фиолетовом платье, была *вызывающе* накрашена: выкрашено было все, волосы в ярко-золотой цвет, лицо, веки, ресницы, ногти. «Наташа и не знает, где покупаются дамские краски!.. Ох, надо эту сплавить, как ни безобразен способ... От золотых копн ее лицо кажется вдвое шире. Даже этого не умеет. Выкрасила бы и усики, они очень ее портят. Под глазами уже веер. Слишком много пьет. Скоро потеряет и красоту».

Он изобразил на лице достаточную, хотя и не слишком большую, степень восторга.

— Как я рад тебя видеть! — сказал он, целуя ей руку.

— Не знаю, так ли ты рад? Ты, кажется, хотел сказать: «чего тебе еще нужно?» — начала она. «Ну, валяй, валяй, с места в карьер», — подумал он и, радостно улыбаясь, точно ждал самого веселого разговора, придвинул готический стул к копы Брунгильды и сел. Швейцар издали неодобрительно на это взглянул, хотя Шелль у него пользовался милостью.

— Никак не хотел ничего сказать, ты этого, к счастью, и не думаешь. Как ты поживаешь? — спросил Шелль. Прошедший по вестибюлю элегантный гость ласково посмотрел на Эдду: «В самом деле, она пока хороша собой. Но Наташа в сто раз лучше».

— Как я поживаю? Отлично. Превосходно. Как может поживать женщина, которую хочет бросить любовник. Но я пришла не для того, чтобы устраивать тебе здесь сцену.

— Это очень приятно слышать. Устраивать мне сцену действительно не за что.

— Мне это надоело, а тебе мои сцены только доставляют удовольствие.

— Ни малейшего. Я не мазохист. Но чему же в самом деле я обязан честью и радостью твоего посещения? — спросил он. В последнее время они обычно говорили в этом тоне, который обоня очень нравился.

— Ты обязан честью и радостью моего посещения тому, что мне надо, наконец, знать, видел ли ты его, — сказала Эдда, очень понизив голос и беспокойно оглядываясь.

— Кого, кохана?

— Во-первых, не называй меня «кохана»! Ты не поляк, и я не полька.

— Чем же я виноват, что ты называешь себя Эдда? Кроме дочери Муссолини, никто так не называется. Почему тебя не зовут Риммой?

— Глупый вопрос. Потому, что меня зовут Эддой.

— Ну что Эдда, какая Эдда! Пожалуйста, называйся Риммой... А во-вторых?

— А во-вторых, ты отлично знаешь, «кого». Советского полковника.

— Я собираюсь к нему сегодня.

— Так поздно?

— Он мне назначил свидание в половине двенадцатого... Но ты твердо решилась?

— Разве сегодня же надо дать окончательный ответ? — спросила она. Лицо у нее несколько изменилось. Ему стало ее жалко. «Все-таки не следует так с ней поступать», — подумал он.

— Как хочешь... Помни во всяком случае, что я тебя не уговариваю.

— Ты врешь, ты меня уговариваешь...

— И не думал. Говорю тебе еще раз: поступай как знаешь. Дело трудное, опасное и нисколько не романтическое. У тебя комплекс Мата-Хари, и, кроме того, комплекс Нерона. Но ты с ними проживешь восемьдесят лет и на старости будешь отдавать деньги под вторую закладную, из двенадцати процентов.

— Ты помешался на этих комплексах! У тебя комплекс Черчилля.

— Зачем тебе это? Пиши стихи, ты талантливая поэтесса.

— Поэзией жить нельзя. Особенно русской.

— Я тебе и говорил, что ты должна писать по-французски. И пиши прозу. Впрочем, нет, прозы не пиши. Есть писатели, навсегда погубленные Достоевским, и есть писатели, навсегда погубленные Кафкой, хотя у Кафки талант был очень маленький. А тебя погубили оба.

— Что ты понимаешь! И как тебе известно, я пишу и прозу, — обиженно сказала Эдда. Она действительно писала что угодно, от непонятных романов до юмористических рассказов, где евреи говорили «Пхе» и «Что значит?», а кавказцы «Дюша мой». Журналы и газеты упорно ее не печатали.

— Пиши французские стихи.

— Никакой поэзии теперь не читают. В буржуазном мире небывалое понижение культурного уровня! А против меня образовался заговор молчания, потому что я не какая-нибудь русская эмигрантка.

— Да, это верно. Тогда не пиши, — сказал он. Знал, что Эдда злится, когда с ней соглашаются сразу: согласие должно приходиться после спора и крика. — Впрочем, ты не русская, ни по крови, ни даже по воспитанию.

Он собственно в точности не знал, кто она по национальности (как в клубе не знали, кто по национальности он). По-русски Эдда говорила с малозаметным неопределенным акцентом, а о своем прошлом рассказывала редко, неясно и всегда по-разному. Говорили они то по-русски, то по-французски, то по-немецки; у обоих были необыкновенные способности к языкам.

Их связь продолжалась менее полугода. Сошлись они случайно, без большой любви, без большого интереса друг к другу. Эдде скоро стало известно, что он разведчик. Шелль сам ей это сообщил за шампанским, больше из любопытства: какой произведет эффект? Она вдобавок умела не болтать о том, о чем болтать не следовало, — «да ей никто ни в чем и не верит». После своего previous breakdown — и до Наташи — вообще стал менее осторожен. Эффект был большой. Эдда была поражена и скорее поражена приятно: разведчиков в ее биографии еще не было. Долго несла чушь, в которой что-то было об ее идеях, об его сложной загадочной душе, о Достоевском и о Сартре. «Если тебе это дело так нравится, то отчего же тебе самой им не заняться?» — сказал он еще почти без затаенной мысли. «Ты думаешь, что я могла бы сделать карьеру на этом поприще?» — жадно глядя на него, спросила она. Слово «поприще» сразу его раздражило. «Это самое подходящее для тебя поприще. И оно никак не хуже того, что ты делала в пору Гитлера». «Что я делала?» — спросила она с возмущением. «Так, разное говорят о твоих поприщах». — «Ты врешь, но если и говорят, то это гнусная клевета!» — «Может быть, и клевета. Очень много врут люди», — согласился он. В самом деле, не слишком верил темным слухам о ней. «Не «может быть», а это так! Гнусная клевета! И к большевикам и тоже не пойду, я их не люблю». — «Для этого любви и не требуется». — «Хотя я понимаю, что есть идейное оправдание». — «Можно найти и идейное оправдание. Это даже очень легко». — «Но шпионкой я никогда не буду!» — «Не шпионкой и даже не разведчицей, а контрразведчицей.

У нас не произносят слова «шпион», это неблагозвучно». — «Какую книгу я об этом написала бы! Почему ты не пишешь книги о разведке?» — «Потому, что я слишком хорошо ее знаю». — «Вот тебе раз! Именно поэтому и надо написать!» — «Нет воображения. Достоевский не убивал старух-процентщиц и совершенно не знал, как ведется следствие. А написал недурно. Если б знал лучше, написал бы хуже».

— Я не русская, но и ты не очень русский. Национальность это вообще vieux jeu.

— Да зачем это тебе нужно? Я тебе даю достаточно денег.

— Кажется, я никогда не жаловалась.

— Действительно не жаловалась, но и не могла жаловаться, — уточнил он. Любил сохранять за собой последнее слово и то, что он называл стратегической инициативой разговора. С Эддой это было обычно нелегко.

— Ты отлично знаешь, что если я к ним и пойду, то не из-за денег, а потому...

— Потому, что у тебя демоническая душа. Я проникаю в ее глубины. У меня батискаф для женщин. Это прибор, в котором профессор Пикар погружается в морские глубины. А я в глубины женской души, — сказал он то, что говорил всем своим любовницам, наводя на более глупых панику.

— Если я к ним пойду, то из ненависти к буржуазному строю! То, что теперь делается в Америке, это ужас и фантастика.

— Да-да, знаю, мое рожное.

— Ты всегда говоришь, «да, да, знаю» и при этом, назло мне, делаешь вид, будто тебе скучно. Со мной никому скучно не бывает!.. У меня есть сегодня синяки под глазами?

— Ни малейших. Напротив, ты становишься все декоративнее. Прямо на обложку «Лайф».

— Я решила соблюдать строгий режим. Хочу весить на десять фунтов меньше.

— Это очень легко: отруби себе ногу.

— Твои шутки в последнее время стали чрезвычайно неостроумны. Ты и вообще неостроумен, хотя и вечно остришь. Худеют от ганцев. Будем сегодня ночью танцевать до рассвета?

— Нет, не будем сегодня ночью танцевать до рассвета.

— Я полною от шампанского. Сегодня за обедом выпила целую бутылку, — сказал Эдда и остановилась, ожидая, что он ее спросит: «С кем?» Шелль нарочно не спросил. — Моя жизнь в шампанском и любви.

— В любви и в шампанском.

— А капиталистический строй я ненавижу, потому...

— Потому, что у тебя нет капиталов.

— Нет, не поэтому!

— Хорошо, хорошо, — сказал он. — Я знаю. Знаю, что ты ненавидишь все vieux jeu и что в Америке ужас и фантастика. Знаю, что настоящая свобода только в России. Знаю, что ты суперэкзистенциалистка и что l'existence précède l'essence. Знаю, что ты обожаешь Сартра и музыку конкретистов. Все знаю («знаю в особенности, что ты супердура», — хотел добавить он). Но тут не время и не место для философско-политических споров. Скажи мне толком: говорить с полковником или нет? Сегодня есть случай и день хороший: не понедельник, не пятница, не тринадцатое число.

— Куда он меня пошлет? — спросила она, еще понизив голос. — За Железный занавес я не поеду.

- Едва ли они пошлют тебя шпионить за ними самими.
- Так куда же?
- Почему я могу знать? Может быть, в Париж?
- Если с тобой, я поеду куда угодно, — робко сказала она. — Я хочу быть в том же деле, что ты.
- Ты, очевидно, представляешь себе это как банк или большой магазин: ты будешь за одним столом, а я рядом за другим?
- Одна я, пожалуй, поехала бы в Париж. Разумеется, если они будут хорошо платить. Мне надо жить.
- Я тебе даю четыреста долларов в месяц.
- Ты мне их давал, но я знаю, что ты проиграл все, что у тебя было. И как ты догадываешься, мне не очень приятно жить на твои деньги, — сказала она искренно. — Я признаю, ты не скуп. Но прежде ты любил меня.
- Я и теперь люблю тебя. Даже больше прежнего.
- Ты врешь! — сказала она, впрочем довольная его словами. — Ты никогда не говоришь правды.
- Нет, иногда говорю. Я тебя люблю уже пять месяцев. Вероятно, никто не любил тебя так долго.
- Меня никто до тебя не бросал, но я действительно скоро всех бросала. А чем же ты показываешь, что любишь меня?
- Ответ был бы непристойен... Не петь же мне с тобой любовные дуэты, а и это доказательством не было бы. Кажется, в опере Шостаковича он и она поют любовный дуэт, но оказывается, что они общаются в любви к Сталину.
- Ты хам!.. Когда ты уезжаешь?
- Послезавтра.
- В Мадрид?
- Да, в Мадрид. Я тебе десять раз говорил, что в Мадрид. Не на Гонолулу, а в Мадрид.
- Ты действительно говорил это десять раз и именно поэтому я тебе не верю. Отчего ты не берешь меня с собой?
- Я там буду занят целый день. Да это и дорого. И не так легко получить визу в Испанию.
- Если не так легко, то ты и потрудись... Что я буду здесь делать одна?
- У тебя много знакомых.
- Ты хам, — сказал Эдда. Она постоянно говорила «ты хам», «он хам», «они хамье», и это у нее почти ничего не значило. Значило разве, что человек ей не нравится. Да и то не всегда.
- Если будет скучно, повторяю, пиши стихи.
- Я все равно пишу каждый день. Сегодня написала одно по-русски, в старинном стиле, немного в духе Дениса Давыдова: «О пощади! Зачем волшебство ласк и слов...»
- Что то есть за человек? Не гневайся, знаю, знаю, был такой поэт. Спрашиваю во второй раз, говорить ли с полковником. Помни твердо, я тебе не советовал и не советую.
- Ты думаешь, это очень опасно?
- Не знаю, очень ли. Это зависит от поручения. Но, конечно, служить в разведке дело рискованное. Я знаю, ты любишь играть жизнью, это самая основная твоя черта. «Клюнуло», — подумал он. — Все же я не советую. У тебя для этой профессии слишком беспокойный взгляд... Вероятно, они пошлют тебя именно в Париж.
- Может быть, я соглашусь, чтобы пройти и через это. Надо пройти через все!

- Я оценил афоризм.
- А когда мне надоест, я брошу. Но если я поеду к ним и они меня назад не выпустят? Что ты тогда сделаешь?
- Сброшу на них водородную бомбу.
- Дурак. Я ищу, к чему приложиться и не нахожу! Это моя трагедия. Хочешь, я прочту тебе французские стихи?
- Не хочу, но, так и быть, читай.
- Они короткие. Слушай:

*Nous avons perdu la route et la trace des hommes
Parmi les méandres du ténébreux valon,
Et oublié le nom de la ville d'où nous sommes
Sans savoir celui de la ville où nous allons.*

- Хорошо?
- Очень недурно, — сказал Шелль. «А в ней в самом деле что-то есть. И лицо у нее сейчас вдохновенное. Глупое, но вдохновенное. Да может быть, стихи и не ее». — Очень недурно.
- То-то. Если я приму их предложение, они меня отправят тотчас?
- Не принимай их предложения. Сиди дома и пей шампанское... Нет, они отправят тебя не тотчас. Сначала о тебе наведет справки комендант. У него есть своя тайная агентура. Затем это будет передано в управление МВД. Тебя допросит порученец, у них такие называются порученцами. Он направит тебя в Главразведупр, т. е. в военную разведку. Если ты порученцу покажешься подходящей, то направит туда, быть может; если же ты покажешься ему неподходящей, то направит почти наверняка: как во всем мире, но больше, чем в других странах, у них полиция и армия ненавидят друг друга, и, вероятно, ничто не может доставить больше радости управлению МВД, чем серьезная неприятность у Главразведупра. Не менее верно и обратное. Таким образом у тебя есть время, если я и поговорю сегодня с полковником. Помни, я не советую.
- Ты что-то уж очень упорно повторяешь, что не советуешь. У тебя темная душа. Поэтому я тебя люблю. Ты вернешься через две недели? Дашь слово?
- Зачем, droga пане кохана, когда ты ни одному моему слову не веришь?
- Если у тебя в Мадриде есть другая женщина, я оболью ее царской водкой!
- Бедная донна. Это может повредить ее зрению.
- А потом покончу с собой!
- Комплекс «Анны Карениной»? Нельзя совместить с комплексом Мата-Хари.
- Ах, как надоело! Хочешь, я скажу тебе замечательный каламбур, который я сегодня придумала?
- Не хочу, — сказал он. Ее каламбуры казались ему чрезвычайно глупыми даже в те две недели, когда он был в нее влюблен. — Сейчас поздно.
- Так завтра утром, напомни мне... А чем я буду пока жить? У меня осталось сто марок.
- У меня есть тысяча долларов, я оставлю тебе половину.
- Я знаю, ты щедр. Ты мне подарил эту норковую *sare*. Правда, я хотела норковое манто, но за самое плохое здесь требуют девять тысяч марок, а ты все проиграл. На деньги, что ты проиграл, можно было бы купить два чудных норковых манто. Тут есть одно за двадцать две тысячи. Ах, какое манто, просто умереть!

— Пока достаточно с тебя и *sare*. Это у вас как чины: *sare* — чин поручика, манто — чин майора. Погоди, будешь и майором.

— Теперь у всех есть норковое манто. На мою черную лисицу больше и не смотрят.

По лестнице спустилось трое молодых людей. Они оглянулись на нее. Один игриво улынулся и тотчас отвернулся, увидев Шелля. Швейцар подал им пальто и шляпы.

— Сколько у вас здесь мужчин! И каждый непохож на всех других. И каждый любит по-своему. И каждый мог бы быть моим любовником! — сказала она.

— И каждый богаче меня, — ответил он. — Впрочем, не каждый. У того, что сейчас выходит, боковой карман пиджака справа. То есть, костюм перелицован.

— Ах, дело все-таки не в деньгах!

— Конечно, но они очень приятны. Разумеется, как дополнение к другому.

— Дело в том, чтобы был настоящий человек. Главное — характер. Надо, чтобы характер был из Шекспира. Терпеть не могу людей с мелкими страстями, с самоанализом, с «ах, я хочу того, но, может быть, я в действительности хочу этого». Человек должен быть *tout d'une pièce*. Ты верно *был* такой. Теперь ты стар.

— Спасибо, — сердито сказал он. — Не настолько уж старше тебя. Не лопни от негодования! Беру свои слова назад, тебе еще нет двадцати, при Гитлере тебе, очевидно, было десять. И так, в третий и в последний раз спрашиваю, говорить ли о тебе с полковником или не говорить?

— Я сама долго колебалась...

— Так перестань, к черту, колебаться!

— Я много размышляла. Ты знаешь, в чем другом, а уж в глупости меня упрекнуть трудно, — сказала она. «Забавно: думает, что она очень умна и очень зла, а на самом деле она очень глупа и скорее добра: все сделает для человека, лишь бы ей это ни копейки не стоило, как, впрочем, многие добрые люди», — подумал Шелль. — Но у меня другого выхода нет. Во-первых, мне осточертел Берлин. Почему другие живут в Париже, в Нью-Йорке, и как живут! Во-вторых, ты все проиграл и скоро мне не на что будет жить. В-третьих, я именно хочу играть жизнью, волноваться, торжествовать над людьми. Весь смысл жизни в том, чтобы побеждать, разве ты этого не чувствуешь?

— Конечно, чувствую. Ты в самом деле давно никогда не побеждала.

— Кроме тебя!.. Но меня останавливает одно. Я все-таки думаю, что разведка это дело не очень благородное!

— Да что ты!

— Я совершенно не сочувствую коммунистам! Может быть, я сделаю вид, будто служу им, а когда они достанут мне визу и пошлют меня во Францию или в Соединенные Штаты, я там возьму и перейду к союзникам, а?

— Так делают многие. Собственно, это тоже не очень благородно. Но если ты там соблазнишь какого-нибудь американского офицера, то будет уже благороднее. Это вполне возможно: у тебя странный *sex appeal*.

— Ты думаешь, они поручат мне именно это? Я обожаю американцев, и это я умею. Недаром меня назвали «королевой пикантности».

— Кто называл? Тот плюгавый спекулянт с порывами? От одного этого слова может сделаться нервный припадок. Не сердись... Я уверен, что ты поднимешь и облагородишь наше дело. Ты напишешь о нем поэму. «Чуткая душа поэта тоскливо сознает свое падение».

— Пожалуйста, остри поменьше, умоляю! Поговорить с этим проклятым полковником надо, но я еще подумаю.

— По-моему, лучше сначала подумать, а потом поговорить с этим проклятым полковником.

— Это будет зависеть от очень многого... От жалованья, от того, что он мне предложит, какую работу. Если очень опасную, то надо еще посмотреть.

— В крайнем случае, тебя посадят на двадцать лет в тюрьму. Там ты соблазнишь зрителя, бежишь с ним и напишешь еще поэму: «Чуткая душа поэта наслаждается свободой после темницы».

— Ты хам!.. Можно прийти к тебе сегодня ночью?

— Можно, — сказал Шелль неожиданно для себя самого. Она просяла. Он посмотрел на часы. — Пора. Я знаю, ты обожаешь уходить, хлопнув дверью. Здесь нельзя: у них вращающаяся дверь.

— Дурак.

— Кохаймо сен, — сказал он. Сам находил глупой эту шутку, он польского языка и не знал.

Швейцар подозвал автомобиль. Шелль хотел было сунуть шоферу деньги и не сунул: «Пусть платит сама, она этого не любит».

Он поднялся в бар и заказал там полбутылки шампанского.

— Моего, оно у вас есть и в полбутылках. И я тороплюсь.

«Да, «ужас и фантастика», — думал он. — Но что же мне делать? Впрочем, может быть, полковник ее не возьмет, сразу ее раскусит. А может, и возьмет, чтобы заполнить меня... Ну, что ж, ее просто вышлют из Франции. Риск для нее невелик... Однако нехорошо...»

На столике лежали карты. Одна колода в углу была собрана. Он загадал: «Если выпадет красная масть, пойду на это; если черная, не пойду». Машинально стасовал колоду, машинально заметил туза червей, снял карты, этот туз и вышел, — он потом сам не мог вспомнить, подбросил ли туза. «Решено...» Он прошел в телефонную будку.

— ...Наташа? — спросил он. Голос и лицо у него стали другие. — Здравствуй, милая. Ничего, что я звоню так поздно? Ты еще не спала?.. Нет, ничего не случилось, все в порядке, не волнуйся. Значит, завтра я приду к тебе в 12 часов. Я все разузнал, проедешь без всяких неувязок, как у вас говорят. На Капри ты будешь в четверг утром. А я приеду в воскресенье... Да, три дня не будем видеть друг друга. Но зато там будем вместе все время... Я так рад! Не кашляла сегодня? Ну, слава Богу!.. На обратном пути я покажу тебе Италию, ты ведь никогда не была. Бедная... Я так тебя люблю! А ты любишь меня?.. Ну, спасибо, хоть я не стою твоей любви... Спасибо... Целую тебя. Так до завтра. Спокойной ночи, дитя мое.

Он вернулся к своему столику. «Две женщины, а тут еще две агентуры, ни за что! Двойным агентом никогда не был и не буду, противно!» Шелль допил вино, опять взглянул на часы и покинул клуб.

IV

«По наружности, по манерам он на того не похож. У каждого из них свой «стиль», и все-таки кое-что общее есть. Этот тоже к делу сразу не переходит, тоже выясняет «степень моей интеллигентности». Но что-то он уж очень много болтает сам: говорит общие места недурно, разве слишком много «конъюнктур». И как-то странно, неестественно говорит. Есть в нем что-то беспокойное, напряженное и немного вызывающее. Он ко мне в гости не зашел бы, не стал бы играть со мной в карты

и закусывать. Должно быть, он назначает свидания только в своем служебном кабинете или уж разве, в особых случаях, где-нибудь в безлюдном месте. Вероятно, очень любит «конспирацию» и шифры. Кабинет у него как будто самая обыкновенная контора, но с примесью чего-то военного. На том столике кофейный прибор. Если не пьет вина, то, значит, возбуждается кофе. В нашем деле иначе нельзя. Есть ли тут микрофон? Кто же его подслушивает? Чекисты? Да, скучно говорит, смерть мухам».

Шелль думал о своем — и не пропускал ни одного слова из того, что говорил полковник № 2. Он в свое время проделал все что полагалось; умел слушать два или даже три разговора одновременно, из сотни фотографий узнавал человека, которого видел раз в жизни, переходил на мгновение из темной комнаты в ярко освещенную и за это мгновение точно запоминал все, что в ней было. Перед ним за большим столом сидел худой, среднего роста, человек с длинным, болезненным, несколько несимметричным лицом с маленькими желтоватыми воспаленными глазами. На левой щеке у него, чуть ниже темного ободка под глазом, была бородавка, и от нее его сухое лицо казалось еще более несимметричным. Полковник не встал при появлении Шелля (только не очень похоже сделал вид, будто приподнимается в кресле), как будто неохотно протянул ему через стол руку и усталым, чуть надменным, если не пренебрежительным, жестом указал ему на стул по другую сторону стола. «Тот гораздо любезнее...» При сидячем положении не было видно, что полковник хромой, но сидел он не совсем так, как сидят здоровые люди. Когда он наклонялся над столом, по его лицу пробегала легкая гримаса боли. «Говорят, он работает пятнадцать часов в сутки. Врут, конечно: никто пятнадцать часов в сутки не работает. Но возможно, что и переутомлен... Глаза умные. По трафарету полагалось бы: жестокие. Нет, разве только злые. Руки чуть трясутся, лицо землистое. Да, странно говорит: какая-то смесь ученого с простонародным или с областным? Ломается или самоучка? И, конечно, «бросает сверлящий, пронизывающий взгляд». Ну, бросай, бросай: что «пронижешь», будет твое. Верно, и он считает себя знатоком человеческой души. Это наша профессиональная черта, иногда и довольно смешная. Однако мы-то ведь действительно профессионалы, а он скорее новый человек».

Ироническое настроение и самоуверенность Шелля, впрочем, очень уменьшались в восточной части Берлина. Всегда слишком быстр бывал этот переход. Порою он испытывал такое чувство, какое, быть может, испытывает опытный летчик, внезапно вступая в «суперсоническую зону». «Нет, я не вынес бы такого бесправия, просто задохнулся бы. Не мог бы у них жить, как рыба не может жить в Мертвом море», — говорил он себе. Тем не менее бывал в восточной части города нередко. Он знал, что в кругах разведки его считают бесстрашным человеком, и действительно, много раз, не теряясь, подвергался очень большой опасности; но знал также, что людей, совершенно не знающих страха, нет.

—... Исчезнет Черчилль и асен выйдут в тираж, кончена будет совсем Англия, как великая держава, — говорил полковник. Он произносил имя Черчилля с ударением на втором слоге. «Никто и в России уже лет сто не называет англичан «асеями», там и не знают слов «I say!» — Умная голова, что и говорить. Счастью не верит, беды не пугается, так и надо. Крупная историческая фигура! («Нет микрофона», — подумал Шелль.) Самый умный из наших врагов! («Есть микрофон».) Ему бы править Америкой, с ее гигантскими возможностями. А то хоть и умненок, да что ж, коль нет денег? Была великая держава, да сплыла. Просто смех: Англия признала Китай, но Китай не признал Англии! Кости предков

Черчилля, верно, в могилах ворочаются. Я так думаю, что вторая война была последним историческим усилием британской державы, как первая война последним историческим усилием французской. Франция ведь и тем паче вышла из конфигураций великих держав. Если населения каких-нибудь сорок или пятьдесят миллионов, то по одежке протягивай ножки.

— Но тогда в мире две величайшие державы это Китай и Индия, — сказал Шелль, чтобы не поддакивать. У него было в работе правило: всегда оберегать свою независимость и не проявлять чрезмерной почтительности; разумеется, иногда правило допускало отступления. «Должно быть, мог бы устроиться лучше, но ему, вероятно, чем неудобнее, тем приятнее». Комната действительно была неудобна, несмотря на яркое освещение сверху. «Хорошо хоть что нет их обычного трюка: «я, мол, останусь в тени, а ты будешь ярко освещен». На столе не было ничего, кроме телефонного аппарата («один аппарат, а не три, как полагается») и негоревшей лампы с абажуром молочного цвета, — не было ни бумаг, ни чернильницы, ни пепельницы. По стенам без обоев тянулись горки металлических ящиков. «Эти все, конечно, с секретом». Только один стеновой шкафчик был деревянный и без замка. Под ним находился кожаный диван с горбом и провалом в середине.

— Так, верно, и будет, когда Китай и Индия создадут настоящую промышленность. Тогда в мире сложится новая конъюнктура. А в настоящее время есть только два военно-политических колосса: Соединенные Штаты и Россия. К сожалению, во всех статистических таблицах Америка на первом месте, — сказал полковник с досадой. — Мы пока только на втором. Но скоро на первом будем мы.

— Вы пока только на втором, — подтвердил Шелль. «Женщинами он, по слухам, увлекается мало. Верно, ему нравятся рыжие? Странно, что Эдда не рыжая от природы, ей так полагалось бы. Вдруг она его очарует?»

— Вы говорите «вы». Разве вы не русский?

— Я аргентинец. Хотите взглянуть на мой паспорт?

— Зачем? Что доказывает паспорт? Я мог бы выдать вам паспорт любого государства. Впрочем, отчего же не взглянуть? Покажите.

Шелль вынул из кармана книжечку и протянул полковнику. Тот перелистал ее — как будто небрежно — и вернул. «Заметил, конечно, и номер, и дату».

— Хорошая бумажка, — сказал полковник с усмешкой. — Открывает доступ в любую страну и нигде подозрений не вызывает. Аргентина нейтральна по природе, по профессии, по конъюнктуре, по тысяче причин. Вижу, вы на авоську с небоськой не ориентируетесь. Итак, вы не русский, хотя и родились в Ленинграде. Там, кстати, всегда было очень мало аргентинцев.

Он откинулся на спинку кресла, поморщившись от боли в ноге. В молодости, в провинции, он очень увлекался театром, и у него была привычка обозначать людей старинными актерскими названиями. «Кто? «Герой» или «первый любовник»? То и другое, но с преобладанием героя. А пора бы переходить в «благородные отцы».

— Да, хорошая бумажка, — подтвердил Шелль.

— Разумеется, я все о вас знаю, — сказал полковник, подчеркивая слово «все». — Много слышал, граф Сен-Жермен. Слышал о ваших делах и восхищался. — Шелль молча наклонил голову. — Правда, вы много работали для малых государств... Я, кстати, никогда не мог понять, зачем малым странам контрразведка. Они ведь вообще воевать не могут и не будут. Нешто каких-нибудь две недели, а потом на американские денежки образуют «правительство в изгнании». Много, много свободных

денег у американцев. Они, должно быть, вообще всех своих союзников в душе презирают, так как те живут на их деньги. А разведка малым странам нужна, верно, для того, чтобы «быть как большие». У России есть, так пусть будет и у нас, а?.. Ну, так как же? Приняли ли вы решение?

— Я вам дам ответ через три недели.

— Не понимаю, зачем медлить? Что именно вас удерживает?

— Да так, пора бросать дело.

— Неужто нервы начали слабеть? — спросил полковник не без скрытого сочувствия.

— Нет, нервы не ослабели, — поспешно ответил Шелль. — Надоела работа.

Полковник взглянул на него удивленно.

— Надоела?

— Стала противна.

— Вы, кажется, особенным идеалистом никогда не были?

— Не был... Кажется, это русский писатель Писемский говорил, что и в своей, и в чужой душе всегда видел только грязь?

Удивление на лице полковника еще усилилось. Он не понимал, зачем это говорит человек, по-видимому желающий поступить к нему на службу. Шелль и сам плохо понимал, зачем это сказал. «В самом деле, стал говорить лишнее. Прежде никогда лишнего не говорил».

— Писемскому, значит, очень не повезло... Так-таки ничего, кроме грязи, не видел? А может быть, у него, как и у вас, нервы все-таки пришли в беспорядок? Вам бы все-таки еще рано, хотя вы немолоды. Это там боксер или танцор может работать только до тридцати лет, очень много, если до тридцати пяти. Люди умственного труда держатся гораздо дольше. Эмануил Ласкер сохранял звание чемпиона мира чуть ли не до шестидесяти... Вы играете в шахматы?

— Играю, но теории не изучал: не хватало терпения.

— Да, без теории какая же игра, — сказал с легким вздохом полковник. — Но жаль, что уж очень много теории. Так и в военном деле. Суворов был не теоретик, а где до него всем их Рундштедтам и Гудерианам?.. У нас в России и шахматисты лучшие в мире.

— Ласкер и Капабланка были не русские. Алехин был русский, но белогвардеец.

— По-моему, величайшим из всех был Чигорин. Это Суворов шахматной игры. Вы знаете его партию против Стейница?

— Не знаю. Все же он чемпионом мира не стал. Правда, Ботвинник чемпион мира.

— Да, Ботвинник тоже замечательный шахматист, — подтвердил полковник с несколько меньшим жаром. — И наша музыка первая в мире. И наша литература.

— Насчет вашей литературы сомневаюсь. У меня к литературе одно обязательное требование: чтобы она не была скучна. У вас в каждом романе какой-нибудь Федюха высказывает глубокие философско-политические мысли, притом обычно «за бутылкой вина» с товарищем. Эти мысли и освещают смысл романа, их подхватывает и комментирует критика. Следовательно, незачем читать роман, вполне достаточно прочесть рецензию, да и то смерть мухам. Вы напрасно экспортируете эту литературу. В Персию или в Индию, пожалуй, можно, а в западные страны нельзя.

— Потому что небось там знают толк?

— Там по этой литературе вас осудят. Вы читали книгу Джорджа Орвелля «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый год»?

— Не читал и читать не собираюсь.

— Это пародия на СССР. Вопреки общему мнению, я нахожу ее тоже скучноватой и нисколько не блестящей. Кое-что шаржировано, кое-что нелепо и совершенно не похоже ни на большевистские идеи, ни на большевистскую практику. Но ваша литература была для Орвелля ценным материалом. «Вот, показал интеллигентность, достаточно и для новой школы».

Полковник, впрочем, даже и не попытался сделать вид, будто замечание его собеседника показалось ему занимательным или заслуживающим внимания. Литература не очень его интересовала. Он и читал мало, преимущественно русских классиков, из которых предпочитал Лескова.

— Так, так. Перейдем к делу.

— Вы выразили желание поговорить со мной сегодня ночью.

— Не помню, чтобы я выражал такое желание, — сказал полковник, подчеркнув слово «я». — Вас в работе интересует только денежная сторона?

— Я считаюсь с разными обстоятельствами: кто больше платит, где меньше риска, где приятнее служить, где вежливее начальство.

— Если б я принял вас на службу, то не иначе как надолго и лишь для очень опасных дел. Я отправил бы вас в Америку.

— В мирное время нигде уж таких опасных дел нет.

— Вы думаете? Вы привыкли работать с демократическими слюнтями.

У нас же не церемонятся.

— В мирное время и вы не решитесь взрывать американские заводы, а войны наверняка не будет, — сказал Шелль наудачу. «Вдруг так опьянел от кофе, что начнет болтать. Это случалось с людьми покрупнее его, проговаривались и Наполеоны, и Бисмарки!.. Нет, стал тотчас воплощением «попсommittal»... Кажется, хотел мне предложить быть двойным агентом», — подумал Шелль. Его, впрочем, не очень интересовало то, что мог бы ему предложить полковник: твердо решил к ним на службу не идти.

— Мы никакой войны не хотим. По учению Маркса, капитализм все равно обречен. Нам воевать незачем.

«Ишь ты. И «учение Маркса». Но об этом ты, кажется, говоришь неуверенно, вроде как Чичиков о своих херсонских имениях».

— Я совершенно с вами согласен. Какие уж теперь отчаянные дела!

— При *найме* же агентов, — сказал раздраженно полковник, — мы, кроме опыта и техники, считаемся тоже с разными обстоятельствами. Вы очень дорогой агент, вы не русский, принципов у вас нет (он хотел сказать: «чести у вас нет»), вы картежник, вы слишком известны в шпионском мире, ваш рост и наружность слишком обращают на себя внимание... Если вы ответа мне пока дать не можете, то, очевидно, вы пожелаали меня видеть по недоразумению?

— Я хотел поговорить не о себе, а об одной даме.

— Не о той ли, с которой вы вчера обедали в ресторане на Курфюрстендам? — спросил полковник. — Очень красивая женщина.

— Именно о ней. Разве вы ее видели?

— Мы обязаны все знать, — сказал полковник, не отвечая. Он Эдды не видел. — Кажется, ее зовут Эддой? Ну что ж, в принципе «сие мне не вопреки», как говорит кто-то у Лескова. Только я с ней запусто говорить не буду. Нам ни драматических инженю, ни гранд-кокетт не требуется. Слышал, что она поэтесса? Поэтессы нам не нужны. Дуры тоже не нужны.

— Она не дура. И как вы правильно заметили, она очень красива.

— Это, конечно, важно.

— Кроме того, она превосходно говорит по-французски, по-немецки, по-английски.

— Это тоже очень важно. Но вы сами понимаете, одно дело вы, а другое дело эта дама, которая, кажется, никакого опыта не имеет?

— Нет, не имеет.

— Она ваша любовница?

— Моя личная жизнь касается только меня.

— *Пока* она нас не касается. Но, как вы понимаете, если вы или она поступите к нам на службу, то нас будет касаться все, что касается вас, или, по крайней мере, все то, что может быть нам интересным. Много платить мы *ей* не будем. В Берлине она нам не нужна.

— Она может поехать куда угодно. Например, в Нью-Йорк или лучше в Париж.

— Все наши агенты хотят поехать в Париж.

— У вас под Парижем, наверное, найдется работа. Там верховное командование запада.

— Спасибо за это ценнейшее сообщение.

— Военные секреты теперь в сущности есть только в двух местах: в Вашингтоне и в Роканкуре, т. е. в Пентагоне и в *Share*. По-моему, их легче узнавать во втором. Ведь там люди четырнадцати национальностей.

— Спасибо и за этот ценный совет. Говорят, этот Сакер...

— Сакюр. Американцы произносят Сакюр.

— Не люблю, чтобы меня перебивали! И я их сокращений не знаю. Говорят, этот Сакюр превосходный генерал. Не наш Жуков, но превосходный, один из лучших в мире, а?

— Я тоже так слышал. Превосходный, но без армии... Разумеется, у вас есть агенты везде. Все же красивая женщина, превосходно владеющая иностранными языками, может пригодиться.

«Как будто готов и любовницу предать, — подумал полковник. — Хорош гусь!»

— А вы не будете уж слишком огорчены, если она попадется?

— Это наш профессиональный риск.

— Конечно, если ее поймут, то французы, чтобы не начинать с нами истории, верно только вышлют ее из Франции. Может быть, именно поэтому «лучше в Париж», а?.. Но вы знаете, у нас правило: або мы, або они. Какова гарантия, что она не двойная агентка?

— Гарантий не бывает. Тут *ваш* профессиональный риск, — сухо ответил Шелль.

— Вам, надеюсь, известно, что мы с двойными агентами не церемонимся.

— Действительно, это всем известно, — сказал Шелль. Он что-то загадал (часто делал это в рискованном положении). Вышло: можно. — Следовательно, незачем и повторять. Незачем людей запугивать. Это ведь метод политической полиции.

Полковник нахмурился.

— Политическая *полиция* тут совершенно ни при чем! Я русский офицер, служу России и русской армии!

«Так и есть. У него *это* навязчивая идея. Теперь ясно, что микрофона нет».

— Я именно это и хотел сказать. *Вы* методом запугивания, наверное, не пользуетесь. Я знаю, что вы старый боевой офицер. — Шелль показал взглядом на колодку, висевшую слева на мундире полковника. — Я не хотел сказать что-либо обидное.

Они несколько секунд молча смотрели друг на друга.

— Говорить мне «обидное» я вам и не посоветовал бы!

— Конечно, я тут на вашей территории. Но я аргентинский гражданин. Даже полиция не пошла бы на дипломатический инцидент без причины и цели.

Полковник саркастически засмеялся.

— Это, разумеется, очень страшная штука: дипломатический инцидент с Аргентиной! Того и гляди, она двинула бы свои войска на Москву!.. Мне, впрочем, нравится, что вы не из пугливых. Добавлю, что и я не хотел сказать ничего обидного. И говорил я не о вас, а об этой Эдде.

— Она начинающая. Куда уж ей быть двойной агенткой!

— То есть годилась бы хоть в агентки-просто? Пожалуй, на пробу можно ее принять... А в дополнение к вам я ее приму даже очень охотно. Вы меня об условиях не спрашиваете?

— Это преждевременно. Ведь я еще не дал вам и принципиального ответа.

«Принципиального!» Хороши, верно, твои принципы!» — подумал полковник.

Порою он спрашивал себя, какие личные цели ставит себе тот или другой из окружающих его людей. И ответ почти всегда был один и тот же: первое, зарабатывать возможно больше, второе, угождать начальству возможно успешнее; дальше могли быть варианты, но незначительные. В отличие от большинства людей и почти от всех своих сослуживцев, полковник обладал способностью оглядываться на самого себя и иногда молчаливо признавал, что хвастать в последние годы нечем. Бывал сам себе почти противен в тех случаях, когда надо было почтиительно и покорно выслушивать полицейских главарей. Их он почти всех считал подонками человечества. Не лучше их были и многие агенты. При первом знакомстве с агентом полковник *хотел* быть как бы дегустатором: попробовал вино, определил характер, качество и выплюнул. Но это ему не удавалось, и он обычно ограничивался тем, что был холодно-корректен, старался говорить отрывисто, именно «наполеоновским тоном».

Очень раздражил его и Шелль. Вдобавок у полковника в последние годы вызвали недоброжелательство все крепкие, здоровые люди, особенно же люди очень высокого роста. Невзрачная наружность с молодых лет была крестом его жизни. Он хотел бы быть по внешности именно таким человеком, как Шелль; почитал физическую силу и силу вообще. Теперь он вдобавок был полуинвалидом. «Этот субъект, конечно, «принципиальный» изменник». Полковник *хотел бы* чувствовать к нему *гадливость*, но не чувствовал. *Хотел бы*, чтобы у него был, например, тонкий, писклявый голос, как у некоторых других людей огромного роста, как у Бисмарка, у Тургенева; но голос у Шелля был самый обыкновенный, впрочем, скорее неприятный.

— За деньгами мы не постоим. Платим не меньше *других*, а то и больше, было бы за что платить. До свиданья. Я буду ждать три недели. Ровно три недели, — сказав полковник и опять сделал вид, будто поднимается в кресле.

У него была частная квартира из двух комнат, хорошо обставленная реэквизированной мебелью. Над Утбау немецкого чиновника последовательно висели портреты Вильгельма II, Гинденбурга, Гитлера и, с 1945 года, Гете. У полковника был выбор тоже между четырьмя фотографиями. Вешать у себя портреты немцев ему не хотелось. Его отношение к Карлу Марксу было неопределенное, смутное и сложное. Знал, что надо восхищаться, и когда нужно было — правда, только в случае крайней необходимости — называл себя марксистом. Но этот заросший бородой старик всегда вызывал у него антипатию и приводил его в дур-

ное настроение духа. Повесил портрет Ленина, — тот был единственный русский из четырех. К нему полковник Вдобавок испытывал чувство личной благодарности. Он вышел из низов, был сыном мужика, пошел добровольцем в гражданскую войну, выдвинулся, после этого изучал в академии военные науки и теперь попал, если не на верхи, то в следующую за верхами общественный слой. Этим он считал себя обязанным Ленину. На противоположной же стене кабинета у него висел никак не принадлежавший к четырем Суворов. Полковнику иногда казалось, что эти два человека друг с другом удивленно переглядываются: как это оказались вместе? А люди, изредка заходившие к полковнику в его частную квартиру, поглядывали на фельдмаршала с тревожным недоумением: совсем не ему тут висеть.

Обычно полковник уходил ночевать домой. Но в этот день засиделся поздно, на следующее утро было назначено раннее деловое свидание, и он решил переночевать здесь. Полковник не терпел в своем служебном помещении того, что называл «домашней атмосферой»: чем деловитее и строже, тем лучше. Все же в стенном шкапчике у него было одеяло, подушка, бутерброды с ветчиной, а на столике был кофейник. Он взял бутерброд и налил себе кофе в стакан; не любил пить из чашки, как в Европе. Спать ему еще не хотелось.

Он был холост, близких людей не имел ни в Берлине, ни даже в России. Приемов и выпивок он почти никогда у себя не устраивал надо было бы звать и людей из политической полиции. Со времени его тяжелой раны женщины больше почти не занимали места в его жизни: «Какая могла бы полюбить хромого, искалеченного, да еще некрасивого человека?..» В свое время он немало пил, в начале своей новой службы пил даже много. Стал чувствовать себя нехорошо и посоветовался с лучшим врачом оккупационной армии. Врач качал головой, нашел очень высокое давление крови, строго запретил спиртные напитки, советовал побольше ходить и не есть мяса. Полковник считал русскую медицину первой в мире, но, хотя это было не очень удобно и хотя он не свободно говорил по-немецки, побывал и у известного берлинского врача. Этот тоже качал головой, тоже нашел очень высокое (впрочем, другое) давление крови, сказал, что пить иногда вино не мешает, — полезно для расширения сосудов, — велел поменьше ходить, чтобы не утомляться, и избегать мучного и сладкого: «Мяса можете есть сколько угодно, если средства вам позволяют». Один врач придавал большое значение верхней точке кровяного давления, а другой — нижней точке. Оба сходились на том, что надо есть много овощей без масла. «Да я их терпеть не могу!» — сердито сказал полковник военному врачу. «Напротив, они очень вкусны», — ответил военный врач, впрочем, овощей не евший. «От овощей, говорят, люди глупеют», — еще угрюмее сказал полковник штатскому врачу. «Это наукой не доказано», — ответил немец, быть может и ничего не имевший против того, чтобы советский офицер поглупел. Полковник продолжал есть бифштексы, так как их не запретил второй врач; ел также бутерброды и пирожные, так как их не запретил первый. По случайности оба врача забыли запретить кофе, — он впрочем их о нем и не спросил. Пил крепкий кофе в очень большом количестве и думал, что только он и поддерживает его в работе.

В теории он, как столь многие советские люди, твердо признавал, что жизнь создана для радостей (полагалось говорить: «для радостей в труде» или как-то так). На самом деле радостной его жизнь не была никогда, даже в молодости: тогда из-за бедности и переобремененности работой. Он и не женился преимущественно потому, что не было времени, квартиры, денег. Теперь полковник жил *аскетически* (это слово ему нра-

вилось) и утешал себя тем, что живет для родины. Но так говорили многие; между тем он знал, что большинство из них себя обманывает или просто лжет: никакой пользы для родины от них не было. Сам он в последние годы думал, что расстраиает козни врагов России, однако понимал, что неизмеримо больше козней другим устраивает советское правительство. В принципе ничего недопустимого в этом не видел; разве так не было всегда в мире? Все же многое ему не нравилось; особенно же не нравились люди, этим занимавшиеся. Членов правительства он почти не знал, и чувства его к ним были очень смешанные. В Сталине он ценил и уважал силу, энергию, презрение к слюнтям, но Сталин все-таки не был бы его героем, даже если б был русским по национальности. В свое время он чрезвычайно почитал Тухачевского. Ему, в случае успеха заговора, служил бы верой и правдой. Другие же маршалы оказались слюнтями, как ни тяжело было это думать.

Он был, особенно прежде, честолюбив: чины, награды, в частности боевые, доставляли ему много радости. Теперь и наград, и радости от них было мало. На новой его службе карьера могла бы быть хорошей, если б он подличал, как другие. Полковник видел, что скоро ему придется подать в отставку, — «сошлутся на ранения, усталость или вовсе ни на что не сошлутся, — пенсию даем, ну, и ступай, — и посадят какого-нибудь прохвоста. Не достиг ни славы, ни высоких чинов, ничего из того, о чем мечтал. Суворов достиг, хотя тоже богатырской наружности не был... Теперь и распряжка недалеко... Кто это называл смерть «распряжкой»? Религиозного чувства у него никакого не было. Священного Писания он не читал, разве только очень редко заглядывал, — верно и в советской России немало людей, которые в него не заглядывали бы никогда. В загробную жизнь он не верил и даже не понимал, как в нее можно серьезно верить. О том, зачем он живет, думал чрезвычайно редко, — для этого и времени не было. Когда же думал, то отвечал себе в утешение, что этого не знает и большинство людей в мире.

На его новой службе почти все было грязно или, в лучшем случае, соприкасалось с грязью, но иногда попадались интересные проблемы (так он называл более сложные разведочные дела). Из этих проблем иные, именно те, которые удавалось разрешить, кончались казнями. Это его уже не касалось, и об этом он не думал.

Из удовольствий же оставалось одно: шахматы. Ими он с молодых лет увлекался страстно. У него не было времени для настоящего изучения шахматной теории: он даже дебюты знал не все, а «литературу» знал совсем плохо, — только самые знаменитые исторические партии.

Он достал из ящика маленькую шахматную доску (вторая, побольше, была дома), зажег настольную лампу и стал проверять недавно сочиненную им задачу. Задачи сочинял недурно, две из них даже были напечатаны. Эта задача была особенно интересна и своеобразна. И у белых, и у черных была сильная игра, обе стороны были на краю гибели. Белые могли дать мат в три хода, черные тоже в три, и все зависело от того, кто начнет. Полковника вдруг поразил символический смысл положения на доске.

Слова «мы никакой войны не хотим» были общепринятыми. Он, как все, говорил так постоянно. У двухсот миллионов людей они выражали чистую правду. Как думают члены Политбюро, полковник не знал, имел только смутные предположения: кто их разберет? Ему же самому то хотелось войны, то нет. Одна из причин, по которой не хотелось, заключалась в том, что он все равно не мог бы принимать участие в военных действиях: все пришлось бы на долю молодых и здоровых. Думать об

этом было тяжело и страшно; говорить же было совершенно невозможно, даже если б у него были близкие друзья, заслуживающие почти полного доверия. Совершенно надежных людей не было, или, по крайней мере, он таких не знал; слишком многого насмотрелся на своей новой службе.

Полковник отпил большой глоток кофе и стал думать, нет ли варианта. Не находил.

V

Несмотря на опасения Наташи, ее поездка сошла благополучно. Она мало путешествовала, не знала итальянского языка и даже по-французски говорила плохо. Но Шелль ей составил точный маршрут, все подробно объяснил, проводил ее на вокзал, привез букет, совершенно не соответствовавший третьему классу. Они поцеловались. «Значит, в воскресенье на Капри, — сказал он, — не заводи больше часов. Так во французском парламенте в ночь на Новый год обычно останавливают часы, чтобы вовремя был проголосован бюджет». Это замечание чуть ее кольнуло. Наташа вошла в вагон, еле удерживаясь от слез. Поезд уже выходил из-под стеклянной крыши, а он все смотрел ей вслед, держа в левой руке шляпу высоко над головой и посылая ей воздушные поцелуи.

В ее отделении все места были заняты. Ей не хотелось расставаться с букетом, но было неловко держать его всю дорогу на коленях; положила его на полку, поверх своего небольшого, потертого чемодана. «Теперь, кажется, мы жених и невеста! — повторяла она себе. — Уж если и на вокзал приехал, и целовались опять... А предложения все-таки не сделал...»

В вагон-ресторан она не пошла, это ей казалось пределом роскоши, — никогда такого вагона изнутри и не видела, — «да может быть, из третьего класса не пускают, или я там что-нибудь еще напутала бы!..» Читать ей не хотелось, и книги лежали в чемодане. «Как теперь при всех доставать? И еще увидят, что книга русская! Сижу, ну, и слава Богу...» Но сидеть без дела она не любила. «Взять, верно, у них в вагонах запрещено». Противоположную скамью занимала немецкая семья с очень милой маленькой девочкой. Наташа обожала детей и с девочкой заговорила бы, если б тут же не находился отец: она боялась людей, особенно мужчин, особенно немцев. «У тебя настоящий inferiority complex!» — не раз с нежностью и возмущением говорил ей Шелль. «Что же делать, это после немецкого подземного завода, — со вздохом отвечала Наташа, — там были специалисты по вбиванию этого комплекса. С плетьюми». «Ты смущаешься даже оттого, что ты остроумна! Да, да, старательно это прячешь». — «Не знала за собой. Так, верно, хорошо прячу, что никто и не замечает».

Она сняла перчатки *suédé*, вызывавшие у нее неприятное чувство, как все поддельное. Нитяные совсем порвались на пальцах, так что и штопать не стоило, а настоящие замшевые были непосильным расходом: в последние месяцы берегла каждую марку, откладывая для поездки в Италию. Ее стипендия была очень невелика; она изготовляла еще какие-то шарфы для берлинского магазина, умела изготовлять и шляпки, для себя сама шила и платья. Руки у нее были золотые. «Рисовать акварелью, выжигать по дереву я не умею, это для прежних барышень, — со смехом говорила она Шеллю, — а вот чинить все могу, и белье стираю отлично, и голову сама мою, и эту — как ее? *regainante* — никогда не делаю, на парикмахера не трачусь, прическа у меня, как

видишь, самая простенькая, с пробором посредине». Шелль слушал со смешанными чувствами. Он любил элегантных женщин и не мог понять, как влюбился в Наташу. «Тяжелая страсть!» — объяснял он себе. Ему нравились такие слова, и он почти сожалел, что они тут совершенно не подходили: ничего «тяжелого» в его новой страсти не было.

На итальянской границе таможенный чиновник, бегло взглянув на нее и на ее чемодан, не осматривал вещей. Другой чиновник с любопытством просмотрел ее советский паспорт и показал его своему товарищу. Наташа приготовила было объяснение на немецком языке (которым владела свободно): в России не была с 1941 года, должна получить эмигрантский паспорт очень скоро, ей уже обещали. Но никакого объяснения не потребовалось. Спросили еще о деньгах, она вынула из сумки свои двадцать пять тысяч лир, сказала, что едет в Италию всего на две недели, едет просто как туристка. Чиновник с улыбочкой кивнул головой. И граница прошла благополучно, ни малейшей неприятности! Ею вдруг овладела необычайная радость, то, что она называла «припадками беспричинного веселья». В последнее время, после знакомства с Шеллем, эти «припадки» стали довольно часты, хотя ее жизнь всегда была очень тяжела (или именно поэтому). «Ничего хуже прошлого случиться не может. Бог меня не забудет и все мне зачет!»

Соседи на нее поглядывали с интересом. Глаза у нее блеснули все сильнее; она это почувствовала и закрыла их, точно ей стало совестно. «Очень хороша, очень!» — подумал молодой литератор, отправлявшийся в Италию с тем, чтобы написать тысячу первую книгу об искусстве эпохи Возрождения. Он поглядывал на Наташу еще с Берлина, до того, как зажгли лампы, и не мог решить, какой у нее румянец: здоровый, нормальный или болезненный, чахоточный. И то, и другое имело свою поэтическую прелесть. Глаза он определил; «темно-серого лионского бархата», — но был недоволен этим определением; упорно развивал в себе изобразительную силу. «Ресницы просто неправдоподобно длинные. Какие?.. Похожа на женщин Лоренцо Лотто», — решил он с удовлетворением, хотя сомневался, поймут ли его читатели: они, может быть, о Лоренцо Лотто и не слышали.

Точно в театре после антракта, занавес поднялся над новой, гораздо более яркой декорацией. Все стало другое, и люди были другие. Новые пассажиры развернули свертки с едой, и Наташа, немного поколебавшись, сделала то же самое. С ней любезно заговорили, она отвечала на ломаном французском языке. Все были очень ласковы. Очень скромно одетая итальянка предложила ей апельсин; старик, по-видимому простой рабочий, спросил, не хочет ли она вина. «Ах, какие милые! И вообще люди хороши. Были, конечно, скверные, — думала она, вспомнив о подземном заводе, — но они исключение. И больше всего этого не будет. Не будет и чахотки, ведь только начало процесса в одном легком... И предложение он сделает!.. Глупое слово: «предложение», глупое, но какое милое! Не может не сделать!» В ее глазах все бегали огоньки. «Разве он сам себя понимает? Послушаешь, уж такой пессимист и мизантроп, а на самом деле, когда он смеется, на него смотреть любо. Да на него и всегда смотрят люди, вот и на вокзале смотрели, он головой, кажется, выше всех, — думала она. — Он доволен тем, будто что-то во мне открыл! Остроумие? Зачем он так любит остроумие? И я люблю, но если не слишком много и не очень злое. Тогда, в понедельник, я ему напомнила поговорку: «Не все шутки сегодня шути, покинь на завтра». Ему не понравилось, сказал, что есть и другие поговорки: «Шутка к шутке, а вот Машка в шубке». Хочешь, Наташка, быть в

шубке?» И мне не понравилось. — «Наташке никакой шубки не надо». — «А Наташе? А Наташеньке?» — Это лучше, но тоже не надо». — «А помосу, совершенно необходимо. И помни, милая: если человек ничего в жизни не боится, ничего не ждет и ни во что не верит, то он *должен* шутить». — «Ах, как страшно! Просто демон!..»

О начале процесса в легком ей сказал берлинский врач, — к нему ее почти насильно заставил пойти Шелль. Она врачей боялась: «Хорошего они никогда не говорят, а не ходить к ним — ничего плохого и знать не будешь». Слова «начало процесса в левом легком» звучали гораздо лучше, чем страшное, противное слово «чахотка». Все же они ее встревожили. Но Шелль, спросивший о ней врача по телефону, объявил ей, что это совершенный пустяк, и она тотчас успокоилась. Правда, позднее, тогда в тот четверг в Груневальде, он сказал, что ей все-таки хорошо было бы поехать в Италию, лучше в горы: там и «начало процесса» тотчас исчезнет.

— Что вы говорите? Вы, может быть, думаете, что я агентка Уолл-стрит, живущая здесь инкогнито? Разве моей стипендии хватит?

— О деньгах, дорогая агентка, не беспокойтесь, я вам достану сколько угодно, — ответил он. Они тогда — до шампанского — еще были на вы, это было в начале их знакомства, Наташа оценила деликатность: «я вам достану», — то есть он даст свои. Правда, он богат, у него большие комиссионные дела. «Что такое комиссионные дела, Евгений Карлович?» — спросила она. Ей в Шелле не нравилось вино, его вечная шутливость, да еще имя-отчество. «Немецкого в нем ничего нет, и Карлы бывают разные. Может быть, отец был Чарльз?» Она примеряла: «Женя»? Нет, совсем к нему не подходит. «Геня»? Еще гораздо хуже. По имени-отчеству теперь называть уже глупо. Старалась никак его больше не называть, а когда скороговоркой говорила «Евгений», то мучительно краснела.

На ее вопрос, тогда в Груневальде, он ответил неясно. Лгать в разговоре с ней, к его собственному изумлению, оказалось не очень легко, хотя и вполне возможно. На поездке в горы он больше не настаивал: врач действительно сказал ему, что ничего опасного у русской барышни пока нет.

— ...Да я и сам не очень им верю, — сказал он ей. — Прежде они посылали легочных больных в Ментону; позднее было признано, что этим они губили людей, но вид у них остался такой же горделивый. Теперь горы, Давос, а завтра, может быть, они признают, что надо отправлять на Северный полюс. Да ничего у вас и нет, не надо только простужаться.

— Ну, вот видите! — ответила, обрадовавшись, Наташа. — А в Италию мне придется съездить, но ненадолго и только на Капри. Я коплю деньги. Это мне нужно для второй диссертации.

Узнав, что она для университета в Югославии пишет диссертацию «Ленин в период отзовизма и ликвидаторства», Шелль расхохотался:

— Как, как? Повторите! «В период отзовизма и ликвидаторства»? Да ведь в Югославии терпеть не могут Москву?

— Нет, совсем не Москву, а Сталина! А Ленина они всегда почитали.

— Пусть почитают и дальше. При чем же тут Капри?

— У большевиков при Ленине была на Капри школа.

— Да что вы! Какое, верно, было полезное высшее учебное заведение!.. Капри чудесный остров, я там бывал. Хотите, поедем туда вместе?

Она вспыхнула от радости. Именно в тот декабрьский вечер они перешли на ты и поцеловались. «Вы не боитесь? Ты не боишься? Вдруг моя болезнь заразна?» — растерянно спросила она и подумала, что

говорит глупо. Как нарочно, — в этот день! — кашляла. «Нет, нет, так я не могу, не могу», — говорила она и выходило еще глупее. Он ничего не отвечал. Потом она стала печальна. Слишком быстрые перемены в ее настроении его пугали. Он связывал это с ее болезнью.

В Италию они отправились отдельно друг от друга. Шелль сослался на неотложные дела и обещал приехать на Капри самое позднее через три дня. Наташа грустно объясняла это себе тем, что он не хочет путешествовать в третьем классе: «Привык, верно, к мягким вагонам» (хотя она покинула Россию давно, еще обозначала вагоны советскими названиями).

— ...Я себе найду какой-нибудь дешевенький пансион, а ты живи где хочешь, но не со мной. А то там люди еще могут Бог знает что о нас подумать!

Он с улыбкой согласился. Наташа и дальше, после поцелуев, отказывалась от его денег. Только в ресторанах соглашалась, чтобы платил он. Слышала, что в ресторанах всегда мужчины платят за дам, даже и за богатых.

До Неаполя Наташа почти ничего в Италии не видела, кроме вокзалов. В Риме поезда надо было ждать полтора часа, но она не решилась выйти хотя бы только на площадь. «Вдруг заблужусь, или опоздаю, или не в тот поезд попаду!»

Очень мало она увидела и в Неаполе. Пришлось потратиться на автомобиль. Объяснила, как умела, шоферу, что едет на Капри, что ей надо на пристань. Шофер закивал головой, по дороге что-то ей объяснял и показывал. Одно место он назвал «Санта Лучиа», и тут радостно закивала головой Наташа: сама пела песенку с этим названием еще в детские годы в России и помнила, что эта песенка связана с чем-то в Неаполе. Показал шофер ей и Везувий, но он Наташу разочаровал: ни огня, ни даже дыма. Шофер сказал, что Везувий с такого-то года больше не курится, — сам был немного этим сконфужен, как все неаполитанцы.

У пристани она щедро дала ему на чай, — впрочем, не знала, сколько именно; в итальянских деньгах еще плохо разбиралась, хотя в Берлине изучала скомканные, огромного размера, ассигнации, которые купил для нее Шелль (вернула ему все немецкими деньгами с точностью до марки). Шофер, видимо, остался доволен, хотел было позвать носильщика, но когда Наташа испуганно замотала головой — лишний расход, — сам донес ее чемодан до кассы. Она взяла билет и подняла чемодан (была довольно сильна физически, несмотря на начало процесса в легком) Его тотчас, взглянув на нее с ласковой улыбкой, подхватил матрос. Наташа, немного поколебавшись, дала и ему на чай, он было отказывался, но принял. Таким образом экономии сделано не было, но Наташу радовали милые, доброжелательные человеческие отношения. «Ах, какой прекрасный народ!»

Вздохнула она спокойно только тогда, когда села на скамейку парходика. Ахнула, впервые по-настоящему увидев море: никогда в жизни на море не была. «Какая красота! И, кажется, спокойное!» В немецком путеводителе сообщалось, что море между Неаполем и Капри иногда бывает бурным, — давались разные практические советы. Поэтому Наташа не спросила кофе и бутербродов, хотя ей хотелось есть, и цены у буфета были обозначены дешевле (она уже научилась довольно быстро переводить в уме лиры на марки). Однако пароход не качало. «Ничего не чувствую, просто морской волк!»

Два часа прошли отлично. Кастелламаре, Сорренто, — названия были так звучны, что просто нельзя было восторгаться. Вспомнила: «Увидеть Неаполь и умереть!» «И кто только мог сказать такую глупость?»

Напротив, увидеть — и жить! Здесь жить, или в другом месте, все на свете прекрасно, и жизнь прекрасна, и чем дольше жить, тем лучше.. Он мне говорил: «Ты все одна, а я целый день занят. («Чем это он занят?») У тебя мало знакомых, неправдоподобное советское дитя?» — «И не дитя вовсе, двадцать пять лет дылде. А почему неправдоподобное?» — «Потому, что на всю Россию ты, верно, такая одна. Там у всех, при социалистическом строительстве, такой чудовищный эгоизм, такие стальные карьерные локти, каких нигде в мире не было, не только при буржуазном строе, но и при папуасском. А у тебя их нет и в помине. Ты мне не ответила, много ли у тебя знакомых?» — «Почти никого». — «Барышни или мужчины?» — «Да я тебе говорю, что никого. А барышни я ни одной отроду не знала. Какие у нас барышни?» — «Я буду приходить чаще, восьмое чудо света». — «Приходи каждый день!» — вырвалось у нее... «Tu sei l'emblema — Di l'armonia, — Santa Lucia, — Santa Lucia!» — «Какая смерть! Где там смерть... И он *сделает* предложение!..» Любоваться морем ей скоро надоело. Она достала вязанье из чемодана, теперь стоявшего под рукой, и занялась делом.

Остановилась она в очень недорогом пансионе. По дороге от станции «финикулэра» побывала в двух других, — везде кое-как понимали по-французски, — и выбрала третий, самый дешевый. Ей отвели маленькую светлую комнату с выбеленными стенами, с майоликовым полом в белых квадратиках, обведенных черным бордюром, всегда казавшихся мокрыми, с чистенькой кроватью, с креслом у выходившего в сад окна. Был даже и небольшой, письменный стол. Первым делом Наташа поставила в воду поблещий букет. По дороге видела ванную, — на этот расход пошла бы, но хозяйка, немолодая, красивая женщина, сказала, что как на беду ванна испортилась, ее очень скоро починят.

Наташа умылась, вынула из чемодана одно платье из трех, не лучшее, — «лучшие буду носить при нем». Внизу хозяйка опять приветливо ей улыбнулась и объяснила, в какие часы завтрак и обед; спросила, сколько синьорина намерена остаться на Капри. Узнав, что не меньше десяти дней, а скорее две недели, улыбнулась еще ласковей и сказала, что не будет беды, если синьорина иногда и опоздает к обеду, ей все оставят. А в дни экскурсий на Анакапри, на гору Тиберия или в Сорренто, ей вместо завтрака будут давать бутерброды. Сказала также что-то любезное об ее платье и пальто. Наташа все поняла и почувствовала себя как дома, — «хотя где же у меня дом?».

В столовой (гостиной в пансионе не было) стояло маленькое пианино. Это очень обрадовало Наташу. Играла она плохо, — разучилась за годы в подземном заводе, — но ее пение Шеллю нравилось. «Вдруг, если никого не будет, как-нибудь спою ему и здесь?..» Пела она разное, от «Бубликов» до романсов Глинки и Чайковского. Ему особенно нравились «Бублички». «Что это он говорил? «В этой глупенькой песенке есть нечто символическое и страшное...» Почему «символическое»? И почему она «глупенькая»? Напротив, мы там все это так чувствовали, так было больно, и это успокаивало». Впрочем, пела она Шеллю в Берлине редко. Он приходил к ней обычно по вечерам, а с девяти часов хозяйка пансиона, большая толстая старуха, — как она всем говорила, вдова чиновника императорского времени, — со строгим лицом раза два входила в небольшую чистенький салон, чуть не половину которого занимал Бехштейн; в десять же решительно объявляла, что больше играть нельзя (ей вдобавок не нравились ни «бублички», ни посещения высокого господина).

На улице у Наташи опять начался «припадок». На все лился теплый, уже почти жаркий свет, все было восхитительно. По пути от станции в

пансион она почти ничего не рассмотрела, так все волновалась: не утащит ли мальчишка ее чемодан, найдется ли комната по карману, поймут ли то, что она скажет? Теперь все было устроено. Ждать Шелля оставалось три дня. Погода была райская, хотя весна только начиналась, — в Берлине еще была настоящая — и очень скверная — зима, мало походившая на русскую, зима без прелестей зимы. Ее поразили кривые, узенькие, несимметричные улицы, невиданная, почти тропическая, растительность, белые, кремовые, красные дома, один живописнее другого, и всего больше горы, часто совершенно голые, со страшными вертикальными обрывами, — на них и смотреть снизу было жутковато.

Гуляла она до вечера. Иногда останавливалась и перед витринами магазинов. Магазины были, конечно, меньше и беднее берлинских, но в Берлине и времени никогда не было смотреть на витрины. В одном магазине недалеко от площади шла распродажа дамских платьев. Наташа взглянула на платья, на цены, перевела на марки, — дешево! Одно платье, лиловое, ей чрезвычайно понравилось: как будто зимнее, — ведь зимние-то теперь распродают, — но совсем как бы весеннее, да собственно можно носить и летом, и осенью. «Лиловый цвет его любимый, он тогда это в Груневальде сказал...» Мысленно прикинула: если экономить решительно на всем, то хватит ли, чтобы купить это платье и вернуться в Берлин? Грустно ответила себе, что не хватит, — дай Бог, чтобы хватило и без платья. «Особенно, если останемся больше десяти дней. А чтобы остаться только девять, я никаких платьев не взяла бы!» Отошла от магазина и тотчас успокоилась. «Отлично обойдусь без платья! Да мне и не так уж нужно: есть три».

Засветились звезды, — «тоже другие». Все с теми же лукавыми огоньками в глазах думала о Шелле, о том, какой он странный и даже чуть смешной своей таинственностью, о том, что его глаза, вначале показавшиеся ей холодными и страшными, были на самом деле добры и даже нежны, — по крайней мере, иногда — «и несколько не «стальные», а голубые». Как жаль, как жаль, что нельзя будет остаться тут дольше! «Но если он в самом деле сделает мне здесь предложение? — замирая, думала она. — Тогда можно было бы остаться, и деньги у него можно, пожалуй, взять взаймы. Хотя я и после свадьбы не сяду ему на шею: буду зарабатывать, даром, что он богат. Я уговорю его пробыть дольше, это будет наша свадебная поездка... Он сказал, что никогда женат не был. Как забавно, что тогда в Груневальде он еще мне казался страшным! Я ему сказала, что его наружность вызывает во мне безотчетную тревогу. Он ответил, смеясь: «не говори так литературно». Я правду говорила... А теперь никакой тревоги, ни отчетной, ни безотчетной!» Наташа постоянно говорила и себе, и ему: «тогда в Груневальде», как Наполеон мог бы говорить: «тогда в Тулоне». Шелль не всегда сразу и соображал, что она хочет сказать.

В уютно освещенной столовой людей было немного: большая семья у главного стола, еще старик и старушка, все несколько не страшные, хоть чужие. Милостивая горничная, очень похожая на хозяйку, усадила Наташу за отдельный столик, переменяла бумажную скатерть, ласково улыбалась. Когда она пробежала с вазой мимо старого буфета, в нем звенела посуда, и в этом звоне было что-то уютное. Горничная подавала макароны, рыбу, мясо, все было необыкновенно вкусно. Спрашивала, что синьорина успела повидать, и узнав, что все «très beau», «bellissimo», и что синьорина никогда ничего прекраснее Капри не видела, предложила вторую порцию макарон. На столе стоял графинчик с вином. Это немного обеспокоило Наташу: не слишком ли дорого обойдется? В России она никогда вина не пила; на подземном заводе была рада, когда доставала

и не слишком грязную воду. За последние месяцы Шелль ее немного приучил к шампанскому, к дорогим рейнским винам. Сначала показалось невкусным, — что только в этом находят люди? — но скоро понравилось; понравился не вкус, а легкое приятное кружение в голове. За их последним завтраком в Берлине Шелль сказал ей, что *настоящее* каприйское вино принадлежит к лучшим в мире и что его в ресторанах достать почти невозможно, а надо искать у старожилов, лучше не у виноделов. Наташа попробовала вино из графинчика: «Кажется, хорошо? Ведь они старожилы? Может быть, *настоящее*? Я его буду угощать, он мог бы приходить завтракать?»

Старик и старуха поднялись. «Кажется, надо им поклониться?» — подумала Наташа. Они ласково кивнули ей первые. «Значит, теперь можно и пора уйти, нельзя же злоупотреблять — подумала Наташа. — Они не платили, верно, тут ставят в счет, тогда поставят и мне?» Она встала и прошла к выходу. В буфете опять что-то зазвенело. «Просто прелесть!»

В ее комнате было холодно. В столовой была печь, другие же комнаты пансиона отапливались солнцем. Наташа хотела было разобрать и разложить вещи, но почувствовала большую усталость: «Это не от начала процесса, а оттого, что много ходила здесь, и от дороги». Лечь спать в девять часов было и совестно, и соблазнительно. Наташа все же подняла крышку чемодана. Кроме ученых книг для работы, она взяла с собой из Берлина «Избранные сочинения Н. Г. Гарина-Михайловского» в одном томе. Тетралогия этого писателя была одной из ее любимых книг. «Вот с ней и лягу! Ах, как хорошо!»

Она проделала над собой то, что называла «турецкими зверствами»: умылась с ног до головы холодной водой. «Есть же такие счастливыцы, у которых всегда везде комнаты со своими ваннами, с проточным кипятком», — сказала она как-то Шеллю. «Есть, Наташа, есть, — ответил он, — и у тебя будут («он сказал: будут. Не намек ли, что женится?»). Но почему ты это самоистязание называешь турецкими зверствами? Турки очень добродушный народ. Естественнее говорить: «нацистские зверства». На это Наташа ничего не ответила: могла шутить о зверствах турок в далекие времена, но зверства национал-социалистов видела вблизи сама, и о них упоминать в шутках было невозможно. «Кажется, будет лужа. Я не виновата, — думала она, ежась от холода. — Но этот пол, верно, воды не пропускает? Не пожалуются ли внизу!» Однако теперь ни в какие неприятности не верила, не верила и что на нее пожалуются.

Затем она легла и закуталась по своей системе: не без труда вытащила концы розового одеяла, плотно засунутые между матрасом и деревом кровати, подвернула их под себя со всех сторон, так что образовалось какое-то подобие мешка; понемногу согрелась и простыня. «Вот уж сейчас на четверть хорошо... Наполовину... Совсем хорошо... Теперь можно и почитать». Книга была большая, довольно тяжелая, держать ее в руках было неудобно, да и не хотелось вынимать из теплого мешка руки. Наташа поставила книгу углом, на постель рядом с мешком.

Тема Карташев целовал Одарку и делал ей предложение: «Одарка, хочешь быть моей женой?» — «Пустыть, панычику...» — «Можно тебя еще раз поцеловать?» — «Ой, боюсь, панычику». Непутевый Тема был любимцем Наташи: когда она в первый раз читала тетралогию, плакала оттого, что он студентом заболел страшной болезнью. «Как же он мог после этого жениться!..» Но теперь Тема еще был чист и здоров. Читать книгу было неудобно, и, чтобы перелистывать страницы, все равно пришлось бы вытаскивать хоть одну руку из-под одеяла. «*Наташа*, хочешь быть моей женой?.. — Приезжает послезавтра...»

Глаза у нее слипались, но она по опыту знала, что и при этом можно не заснуть. «Бывает, что вдруг точно электрический разряд, и ничего от сна не остается. Надо улучшить момент, когда можно заснуть, а упустишь — сорвешь сон. Так и в жизни: только один момент пропустишь — кончено... Где же и сделать предложение, как не на этом волшебном Капри? В Берлине у него просто и времени не было: не за обедом же между двумя блюдами?.. Зачем он так много пьет?.. А еще любят ли мужчины, когда у кого этот... инфирорити?» — тревожно спросила себя она, задумалась и чуть не сорвала сон. Была совершенно — почти совершенно — убеждена, что ее любить не за что.

VI

Спала она как убитая и проснулась в восьмом часу. Комната была залита светом. Наташа тотчас освободилась из мешка; упала книга, так и простоявшая на кровати всю ночь. С вечера не опустила штор, теперь отворила окно. «Ах, этот воздух! Тут и в одной рубашке не простудишься... Насморк был бы совсем некстати, если бы не прошел до его приезда!..» В саду неизвестные ей цветы и деревья были очаровательны. «Вон там будем с ним сидеть, когда он будет приходить ко мне». Тишина была необыкновенная, такой нигде не было. Не сразу решилась позвонить: слишком рано. Решила подождать до восьми. Но со стороны кухни послышался веселый женский голос, кто-то так же весело откликнулся, стало еще веселее и Наташе. Она позвонила, — робко, еле надавила на пуговку.

Та же миловидная горничная пожелала доброго утра, спросила, как спала синьорина и что ей подать к завтраку; затем, очень скоро, принесла кофе, масло, две булочки, стакан холодной воды. Шелль говорил Наташе, что на Капри питьевая вода редкость: ее привозят из Неаполя. «Значит, довольны мною! Верно, она дочь хозяйки или племянница, что ли?» Охотно поговорила бы и с горничной, — особенно любила разговоры с простыми людьми, — но нельзя было по незнанию языка, да и кофе остыл бы, ей очень хотелось есть. Все было опять прекрасно подано и необыкновенно вкусно. Кофе дали немного меньше, чем молока. Наташа любила крепкий и сладкий, сразу налила в чашку почти все из кофейника, выпила с наслаждением, затем вылила в чашку и весь остаток молока, только капнув остатками кофе. Не оставила ничего и от масла, и от хрустящих булочек. «Просто совестно!» В Берлине в ресторанах ей всегда тоже бывало за что-либо совестно перед прислугой, это очень сместило Шелля. Он увозил ее в далекие от центра рестораны, а то и в загородные, хотя там зимой было мало публики, — это была, по-видимому, одна из его многочисленных причуд; и не любил ходить пешком, тотчас садился в автомобиль.

Она опять подошла к окну и жадно стала вдыхать воздух: «Какая прелесть! Может быть, и за десять дней здесь совсем, совсем поправлюсь!..» У забора на веревке висело белье. Это тоже показалось ей необыкновенно живописным. Затем она с сожалением затворила окно и взялась за работу. В комод было три ящика. Платья и белье поместились. Но шляпы (взяла с собой обе) поместить было негде. Все ее вещи были дешевенькие. Только французские духи были очень дорогие: подарок Шелля. Наташа своей бедности нисколько не стыдилась, но и не гордилась ею, — это бывает не так часто.

Постели она не убирала, — надо же что-нибудь оставить и для горничной, а то еще обидится. Но комнату убрала так хорошо, как, веро-

ятно, эта комната никогда не убиралась. Вынула даже ящик из стола и вытряхнула пыль в корзину. Книги аккуратно разложила на столе. Сочетание книг у нее было самое странное. Были истории русской церкви митрополита Макария и Голубинского, — с великой радостью нашла в Белграде эти редкие издания и даже заплатила недорого: антиквар не знал цены русским книгам. Было «Сказание о новоставшей ереси», — Иосифа Волоцкого она не любила, но это тоже был полезнейший труд для первой диссертации. Были и советские книги, брошюры, исторические журналы: антиквар смотрел на нее с некоторым удивлением, когда она все это отбирала. Она даже сочла нужным объяснить ему, в чем дело. Основная ее диссертация была «О первых проявлениях русского социализма в писаниях нестяжателей». Эту тему она выбрала сама, профессор согласился, хотя и не очень охотно. Вторую же, дополнительную и обязательную, работу о Ленине ей предложил факультет. Эту тему приняла не очень охотно она. Как почти всё в Югославии, университет был странным образом и коммунистическим, и антикоммунистическим. Люди объясняли это не очень понятно, как будто скороговоркой.

В десять часов в дверь постучали и вошел сам хозяин пансиона. Наташа встала, — привыкла к этому на подземном заводе и все не могла отделаться от страха перед мужчинами, имевшими какое-то звание. Оказалось, хозяин пришел справиться, всем ли синьорина довольна и будет ли она у них и завтракать, и обедать. Так дешевле, и он ей это очень советует, но у них существует и полупансион; его жена не совсем поняла синьорину, и он желал бы знать окончательное решение синьорины. Наташа с жаром ответила, что, конечно, будет и обедать, и завтракать:

— У вас все так вкусно! И какое чудное вино! Верно, настоящее каприйское? Но мне не надо так много, я почти не пью.

Хозяин объяснил, что вино самое настоящее Тимберо и что графин его входит в цену пансиона. Это было тоже приятно. Набравшись мужества, Наташа сказала о другом. Она опасалась, что в ее чемодане или на столике после ее ухода найдут советские книги, признают ее большевичкой и еще сообщат полиции, — тогда не оберешься неприятностей. На немецком языке, кое-как дополняя французским, объяснила, что занимается русской историей, пишет книгу, и ей для ее научного, чисто научного, исследования очень нужно было бы узнать, где на Капри жил много лет тому назад Ленин и где в то время находилась большевистская школа. Хозяин слушал ее с ласковой улыбкой, хотя немного как будто был удивлен. Но по-видимому, не нашел в вопросе ничего страшного. Сказал, что великий русский писатель Массимо Горки жил недалеко, в большом красном доме над морем, там теперь гостиница, он даст синьорине адрес; о Ленине же и о школе он ничего не знает.

— Это, наверное, может вам сказать наш известный каприйский лодочник, старик Антонио. Он лично знал Ленина и возил и его, и Горького в Лазурный грот. Вы можете его найти в три часа у входа в фуникулер. Он там ждет туристов. Здесь же на острове жил и синьор Аксель Мунте, другой великий писатель. Все писатели и ученые приезжали на Капри.

Наташа рассыпалась в выражениях благодарности на немецком, французском и даже на итальянском языках.

— ...Мила необыкновенно! Она профессор! Занимается историей, — сказал хозяин жене, зинувшись вниз.

— Недолго будет заниматься историей, — ответила хозяйка неодобрительно. Но ей и самой очень понравилась эта русская барышня.

За работу Наташа тотчас не села. Все утро по путеводителю осматривала сады Круппа, замок Кастильоне, церковь Сан-Стефано, скалы Маральони, куда нираты заманивали огнями моряков и тут же их убивали и грабили. Но Анакапри, дворец Тиберия и Лазурный грот Наташа оставила для Шелля: пусть он туда ее повезет. После завтрака в пансоне — завтрак был еще лучше, чем обед накануне, — не отдыхала — нечего лениться и пошла на станцию. Там ей указали старика Антонио. Хотя Наташа лодки не заказывала, он охотно дал ей все сведения: да, он был другом великого писателя Горького, возил в Лазурный грот и его, и синьора Ленина; бывал и у них в школе, а помещалась она в вилле Пьерина, по дороге на Пиккола Марина, осталась точно такой, как была, и по случайности в ней теперь никто не живет. Другие лодочники и носильщики с любопытством слушали старика. Они слышали о Ленине, о школе и, видимо, гордились тем, что это было на Капри.

Опять повезло: легко узнала адрес. Наташа с волнением отправилась к Пиккола Марина, расспрашивая прохожих, — не туристов, а настоящих каприйцев. Все любезно ей отвечали, иногда даже отрываясь от дел и разговоров. Такого внимания она нигде не видела: любезностью не была избалована в жизни.

Вилла, стоявшая в стороне от большой дороги, была бслая двухэтажная, с колоннами в первом этаже, и стояла она в глубине роскошного сада с пиньями, пальмами, розами. «Откуда же у них тогда были деньги, чтобы нанимать такую дачу?» — недоумевала Наташа. «Ну, убили кого-нибудь, дело житейское», — как сказал бы Майков. Николай Аркадьевич обо всякий гадости говорил: «дело житейское», и с удовольствием это говорил!

Серьезные историки всегда все тщательно проверяют, и, чтобы не полагаться на одного Антонио, она прошла дальше по дороге, купила в лавке плитку шоколада и справилась о вилле: правда ли, что здесь когда-то была русская коммунистическая школа? Старик лавочник и его жена, чудом понявшие ее, с гордостью подтвердили: «да, в вилле Пьерина была коммунистическая школа, великий писатель Максим Горький по слабости своего здоровья приезжал туда по большой дороге на извозчике, а Ленин приходил пешком, и они сами его видели, своими глазами, и за ним всегда по пятам ходила царская полиция. Кос-как поняла и Наташа.

Она вернулась к вилле, долго стояла перед входом, затем, робко оглянувшись по сторонам, попробовала калитку. «Не заперто. Верно и в самом деле никого нет? Войду? Право, войду!» Наташа вошла в сад и, опять набравшись храбрости, — не примут ли за воровку? — заглянула в окно: увидела большую пустую комнату, вроде студии. «Конечно, тут они и читали лекции! А то здесь на этой террасе обсуждался отзовизм». Наташа твердо знала, что историкам полагается все обсуждать и описывать «объективно». Тем не менее вилла внушала ей недобрые чувства. «Отсюда все пошло, с этой веселенькой белой виллы! У нас говорили, что от большевиков затрещал мир, и это действительно так. От этого и от гитлеровского трещанья затрещала и я. Папа был бы в России, совсем иначе сложилась бы жизнь, и войны, говорят, не было бы... Но ведь и его тогда не было бы!»

Вилла Пьерина была ее открытием, — в исторической литературе нигде ее названия не было. Правда, у Наташи были и некоторые сомнения: как будто Ленин пробыл на Капри очень недолго. Были у нее и хронологические затруднения с отзовистами и ликвидаторами. Но все это именно могло быть предметом обсуждения во второй диссертации. «Заполнит не меньше десяти страниц, — радостно думала она. — Скорее

бы написать... Я непременно приведу его сюда, ему будет интересно, он такой образованный». Сосчитала мысленно: до приезда Шелля оставалось еще сорок шесть часов, может быть, даже сорок пять.

Для второй диссертации за день было сделано достаточно. Присев на камень, она все занесла в купленную для этого в Берлине записную книжку с карандашиком в ушке: описала виллу, сад, комнату, кратко занесла «показания старожилов». Все это могло пригодиться. «Конечно, в историческом отношении это не так ценно, но в бытовом интересно». Досадно было, что карандашик твердый и пишет неясно. В ее самопишущем перо не оказалось чернил. «Можно спросить у хозяина, или же, чтобы не приставать, завтра куплю баночку, заодно и бумагу». Отсутствие чернил было законной причиной, чтобы вечером не думать об отзовистах. «При нем будет работать труднее, да он и смеется все над моей работой... Ну, буду рано вставать, от семи буду писать, а встречаться, верно, будем не раньше одиннадцатого часа». Она поднялась к себе. Теперь было уже немного и скучно. «Смерть мухам», — весело вспомнила она его постоянное восклицание и засмеялась от радости. «Нет, не скучно, мухи останутся живы».

Вечером она, с карандашом в руке, не тем, а настоящим, хорошим, читала сводную книгу о стригольниках, жидовствующих, нестяжателях и иосифлянах. Еврей Схариа, приехавший в Новгород в свите приглашенного боярами нового князя Михаила Александровича, «был изучен всякому злодейства изобретению, чародейству же и чернокнижию, звездозаконию же и астрологы», совратил со своими учениками многих русских священников, протопопа Софийского собора и самого митрополита Зосиму и чуть было не совратил великого князя Московского Ивана Васильевича. Проповедовали же эти малоизученные еретики астрономическую книгу Шестикрыл и метафизику Моисея Египтянина или Маймониды, а всего больше учение Аристотеля, головы всем философам. Они говорили: «Нест, ден, царства небесного, умер, ден, ин по та места и был...»

О том, есть ли вечная жизнь, Наташа сама думала часто, особенно с тех пор, как стала кашлять. К тому, что историк называл рационализмом стригольников и жидовствующих, у нее симпатий не было. Не могла понять, что эти люди предлагали, какое утешение, и зачем же писать безутешные, безотрадные книги: «на что тогда их Аристотель, и их звездозаконие?..» Зато они нежно любили нестяжателей, особенно Нила, который ушел на реку Сору от злообразия мира. Нравилось ей также, что к восьми главным человеческим порокам Нил Сорский причислял печаль и уныние. Это она слышала до войны от Николая Майкова. «Он ведь из семьи Нила и все это знает». Его слова она часто себе повторяла, когда работала на подземном заводе. Не всегда они помогали, — слишком страшно было то, что на заводе творилось. Однако помогали иногда.

Так и теперь Наташа прочла несколько страниц из книги, остановилась на цитатах из «Предания и устава», и ей стало еще радостней. «Послезавтрашнего дня и считать нельзя. Где он остановится?» Она видела в городке большую гостиницу «Квиссана». В путеводителе было сказано, что это самый лучший отель Капри, да это и без путеводителя было ясно само собой, по виду выходявших людей, по тому, что здесь толпились гиды и стояли ослики для туристов, — когда Наташа проходила мимо, к крыльцу на ослике подъехала говорившая по-немецки горделивая дама.

Сон был радостный, бессмысленный, немного беспокойный. И вдруг в другой нелепо ворвался император Тиберий. Он был теперь учителем в ее киевской школе. Читал об отзовистах и принимал в ней близкое

участие. «Не выходи за него замуж! — сказал император. — Разве ты не видишь, что он обманщик? Ты сама вначале так думала, напрасно ты это теперь скрываешь. Беги от него поскорее, подальше».

Наташа очнулась в ужасе и села, подобрав колени. Глаза у нее расширились, сердце сильно стучало. «Обманывает в чем? Но прежде, вначале, я в самом деле так думала! Откуда он это знает?.. Кто знает? Тиберий! Что за вздор!» Она проснулась совершенно. — «Вздор, дикий вздор! — прикрикнула она на себя и даже постаралась улыбнуться. — Зачем он стал бы меня обманывать? Правда лишь то, что он никогда о себе не говорит. Я спрошу его. Просто так спрошу... Ах, какая чушь снится людям! Ни о чем не буду его спрашивать. Ни слова не скажу... И о сне не скажу», — думала она, понемногу успокаиваясь. Ей было мучительно за себя стыдно.

(Продолжение следует)

ПОЧТА «ДАУГАВЫ»

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

Уважаемая редакция!

Пишу в связи с публикацией этюдов молодого и не слишком известного автора, — во всяком случае, мне раньше не доводилось встречать в печати это имя, — Игоря Галева. Вы представить себе не можете, сколь приятно для меня открытие вашего журнала. Почти привыкнув ничему не удивляться (в наше-то время!), невольно вздрогнешь от соприкосновения с таким искусством. Манера настолько необычна, сразу и не определишь, что это: традиционная литература, новое слово в ней, авангард? А наверное, ни то и ни другое, а все вместе. Это совершенно самостоятельное явление, со своей нележкой историей (судя хотя бы по письму автора в редакцию). В любом случае, это очень ново и любопытно. Особенно хороши этюды «Ромодановская элегия», «Браконьер», «Здравствуйте, Александр Исаевич!».

Хотелось бы узнать, печатался ли этот автор где-либо раньше? Узнать о нем самом. А главное, из 26 этюдов в журнале опубликовано всего 12. Нельзя ли продолжить эту серию? ..

Н. АНДРЕЕВА, г. Мытищи Московской области.

Письмо второе см. на с. 80.

Р И Ф Ы

Как хорошо все начиналось в 1985 году! Сколько надежд на скорое изменения к лучшему породили у населения первые шаги руководства. Пусть многие понимали по-разному, что такое хорошо, но никто, практически, не предполагал тогда столь стремительного нарастания распада. В чем причина охватившей страну деструктивности? Где тот «камушек», о который споткнулась перестройка? И еще вопросы: не умерла ли перестройка и не пора ли садиться писать трактаты, осмысливая ее историю? При ответе на любой из них необходимо сначала поставить диагноз, пронаблюдать признаки недуга, заполнить «историю болезни».

Начнем с вопроса о том, умерла ли перестройка? Если под ней понимать обновление «реального социализма», то она, без сомнения, скончалась в Восточной Европе и агонизирует в СССР. Правда, Советский Союз — огромная страна, и перестройка не может умереть тут в одночасье, как это произошло, например, в Чехо-Словакии. Поэтому демонтаж прежней системы идет по регионам и, как и следовало ожидать, начался с западных республик — Литвы, Латвии, Эстонии. На смену попыткам обновить «общество Октября» приходит политика отказа от социального экспериментирования в духе «диктатуры пролетариата». По всей видимости, 1990 год стал тем рубежом, с которого развилось принципиально новое качество в соци-

ально-политических процессах страны, качество, требующее и нового названия. Поэтому, пока в виде гипотезы, поставим мысленно надгробную плиту с надписью «Перестройка. 1985—1990 гг.».

Что будет дальше — тема другая, сейчас же необходимо «остановиться, оглянуться» и спросить себя: так что же случилось с перестройкой, столь бодро и уверенно «начатой партией» во главе с ЦК и политбюро? Мощный залп критики на съезде компартии РСФСР и XXVIII съезде КПСС определяющей ясности не внес. Чаще всего и в печати, и на партийных форумах говорили о том, что руководство постоянно опаздывало с принятием нужных решений, издавая постановления как бы вдогонку событиям. Без сомнения, определенное тугодумие правительства действовало обескураживающе и способствовало серьезному подрыву его авторитета. Но можно ведь и возразить, что руководство с углублением перестройки стало испытывать огромное давление «справа» и «слева», причем в условиях цейтнота. Ситуация конца 80-х годов сравнима с моментом чернобыльской аварии. Что-то рвануло, полыхнуло пламя, стала рушиться крыша, и часть приборов, до того исправно дававших информацию, почему-то стало зашкаливать. Пошли процессы, с которыми мало кто сталкивался прежде. Старые инструкции («не пущать», «давить») оказались негодны, новые только вырабатывались. И самое

главное, никто толком не мог объяснить — то ли это технические неполадки в системе, то ли взорвался сам «реактор». Даже сейчас в руководящих сферах есть люди, убежденные в том, что дело, в общем-то, поправимо, надо лишь окатить пламя холодной водичкой. А уж три-четыре года назад демонстрировать оптимизм считалось признаком лояльности делу перестройки. Вспомним: Б. Н. Ельцина выгнали из политбюро лишь за сомнение в темпах преобразований и в исправности компаса...

Хотя, пожалуй, этот пример вступает в противоречие с защитной аргументацией. Получается: цейтнот цейтнотом, но было и самомнение. Не здесь ли скрыт первый риф, на который напоролось днище государственно-партийного корабля?

Риф 1. Самомнение — не причина. Это следствие, вытекающее из вполне определенного уровня профессионализма и профессионального отношения к делу. Крупнейшей и давнишней проблемой для нашего государства является низкий профессионализм его управленческой системы. С переходом на экономические методы работы выяснилось, что в государственно-партийных структурах остро не хватает профессионалов — экономистов и политологов. Что, впрочем, естественно для партаппарата, десятилетиями жившего по иным (идеологизированным) критериям. Вот наиболее характерные примеры просчетов.

Финансовое планирование антиалкогольной кампании. Объявив о быстром сокращении продажи алкоголя, включая «смертоносное» шампанское и пиво, правительство решило возместить потери денег увеличением продажи соков, майонеза, уксуса. Попытка замазать дыру в бюджете майонезом закономерно провалилась. Через три года, как о чем-то сенсационном, было заявлено, что бюджет недосягался 37 млрд рублей.

Реализация Закона о кооперации в СССР. Казалось бы, по логике вещей, стимулировать будет прежде всего деятельность кооперативов в тех секторах экономики, которые имеют непосредственное отношение к росту национального

дохода, — в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Однако получилось нечто странное. На всю страну прогремела история с «архангельским мужиком» Сивковым, которому местные власти долго не давали выделить в хутор, чтобы выращивать бычков на откорм. Зато в это же время повсюду возникали кооперативы в сфере обращения. Ничего не производя, пользуясь избыточным давлением денег на рынок, многочисленные видеосалоны, кафе, концертные организации, обменные бюро и брачные конторы занялись перекалыванием денег из кармана потребителей в свой.

Спекулятивный бум позволил расправить крылья организованной преступности. Хорошей подпиткой ее кадровому составу послужила поспешная массовая амнистия 1987 г. к «круглой дате». Легкость добывания капиталов в кооперативах породила явление, неизвестное в Восточной Европе — массовый рэкет. В результате буквально на пустом месте, из-за разрыва в доходах, не обусловленных различиями в результатах труда, возникла проблема большой социальной остроты, хотя последствия неконтролируемого допуска кооперативов в сферу обращения при набирающей силу инфляции легко можно было просчитать заранее. Когда на рынке денег больше, чем товаров, и отсутствует конкуренция, эволюция кооперативов в «получивилизованные» частнопредпринимательские фирмы, снимающие финансовые «сливки», неизбежна. Любопытно, что налоговые ставки для кооперативов производственно-строительных и сельскохозяйственных и в сфере обслуживания были установлены недифференцированно, как будто государство специально подталкивало предприимчивых людей заняться бизнесом именно в непроизводственных отраслях. И если в восточноевропейских странах и Китае начали с сельского хозяйства и ремесленных мастерских, что быстро сказалось на прилавках магазинов, то у нас пошли, как всегда, «нетривиальным» путем. Стоит отметить и тот факт, что кооперация в деревне так и не привилась.

Риф 2. Низкий профессионализм в эшелонах власти имел «продол-

жение», доконавшее нашу экономику. В декабре 1988 года председатель совмина СССР Н. И. Рыжков на сессии Верховного Совета, в сущности, объявил о конце хозрасчета, хотя собственно речь шла о 30-миллиардном дефиците госбюджета СССР на 1989 г. Уже в январе его поправили. Экономист О. Лацис, подсчитав статьи расходов бюджета, заявил, что дефицит составляет около 100 млрд рублей. Да, согласилось правительство, 120 миллиардов. Сообщение правительства вызвало определенное волнение в печати, но и только. Я лично ждал, что на I Съезде народных депутатов СССР правительство будет подвергнуто жесточайшей критике со стороны экономистов. Однако, то ли по недостатку времени, то ли из-за нежелания ссориться с руководством страны, депутаты обошли этот момент. А ведь стряслась катастрофа! То декабрьское заявление Рыжкова стало поворотным пунктом в перестройке. Наше общество преступило незримую грань, отделяющую этап стабильности от этапа нарастающей социально-экономической напряженности. Что же, собственно, произошло?

Беда даже не в том, что в любой западной стране так же правительство разнесли бы в считанные дни (вспомним дело «Иран — контраст», когда конгресс США «прицепился» к правительству из-за каких-то 20 млн. долларов, потраченных без ведома законодателей и налогоплательщиков), а у нас оно устояло. Наше правительство скрывало дефицитность так называемого «сбалансированного» бюджета в течение всех первых лет перестройки! Явление не только аморальное, но, прежде всего, огромной экономической важности. Ведь экономисты, предлагая концепции реформы цен и перевода экономики на полный хозрасчет, исходили из того, что основными источниками инфляции у нас являются нерентабельные предприятия, нереализованная (в силу низкого качества) продукция и «незавершенка» в капитальном строительстве. И вдруг выяснилось, что главный-то стимулятор инфляции — дефицит госбюджета. Все расчеты в мгновение ока превратились в прожек-

ты, а вся работа специалистов пошла насмарку.

Но это еще полбеды. Как может работать самостоятельное, самофинансируемое хозрасчетное предприятие в условиях инфляции?! Если на рынке много денег, но мало товаров, то предприятие, естественно, начинает либо повышать цены на свою продукцию, либо отказываться от трудоемких работ в пользу финансово выгодных. Это раз. Вторых, не имея возможности реализовать свои инфляционные деньги, оно вынуждено вступать в отношения натурального обмена с другими предприятиями. В-третьих, получая легко достающиеся деньги, оно, не скупясь и не торгуясь, приобретает нужные ему товары и услуги, содействуя тем самым взвинчиванию цен. Но так как предприятия у нас выходят на полный хозрасчет одновременно и выпускают к тому же разную по степени дефицитности продукцию, то и доходы у них стремительно дифференцируются, вне зависимости от реальных усилий трудового коллектива. Государству (социалистическому!) ничего не остается, как наложить лапу на доходы «выскачек», ужесточить централизованное директивное планирование, чтобы воспрепятствовать вымыванию дешевого ассортимента и росту цен на изготовленную продукцию. На том хозрасчет и самостоятельность заканчиваются.

Все это без особых сложностей можно было просчитать в начале перестройки, принять антиинфляционные меры, а не вводить с помпой хозрасчет, чтобы через год его свертывать, обвиняя предприятия в «групповом эгоизме» и несознательности¹. Но для этого необходима была правдивая отчетность о финансовом положении страны. Коль признано целесообразным перейти к рыночным отношениям, где деньги — не просто учетно-затратная единица, а эквивалент обмена товаров и измеритель пропорций та-

¹ Когда председатель совмина жаловался на групповой эгоизм предприятий, он лишь демонстрировал свое непонимание природы рынка. На рынке нет иных интересов, кроме групповых, частных. Общественный интерес рождается как диалектические «снятие» совокупности частных.

кого обмена (через механизм спроса и предложения), то первым делом следовало произвести полную ревизию финансового хозяйства государства. Ведь в формулах товарного производства, которые можно посмотреть в любом учебнике политекономии (Т—Д—Т; Д—Т—Д), все вертится вокруг «Д» (денег). Сейчас же мы имеем типичную стагнацию: инфляцию в сочетании с застоём в производ-

стве. Несколько телерепортажей с заседания совета министров СССР и процедура утверждения кандидатур на министерские посты Верховным Советом наглядно показали низкий профессиональный уровень многих «ответственных товарищей». Что ожидать от министра, который в начале эпопеи с моющими средствами доказывал на заседании совмина, что все дело в нехватке вагонов, а в «III квартале засыпем страну стиральным порошком»? Слово «рынок» для него абстракция, закономерности перелива инфляционных «горячих» денег при стабильных ценах — темный лес.

Чего было ожидать от таких «спецов» по рыночным отношениям, как Полад-заде, ответственный за ошибки в мелиорации, Богомяков (первый секретарь Тюменского обкома, «свергнутый» на народных митингах), Калашников (ушедший с поста секретаря Волгоградского обкома под давлением горожан)! К счастью, их кандидатуры отклонил Верховный Совет. Но ведь предлагали! Однако многие из тех, кто стал тогда членом правительства, разбирались в законах рынка? Кто из них владел хотя бы основами маркетинга и менеджмента? При рыночной экономике одной лишь работоспособности «на износ» и желания «вершить дела» недостаточно. Н. И. Рыжков предпочитал набирать в кабинет министров производственников и лишь под давлением со стороны взял одного экономиста (Л. И. Абалкина). Для совладания же с рынком нужны прежде всего крепкие экономисты, финансисты, юристы. Производители здесь мало что могут, и это доказала хотя бы эпопея с шахтерами. Рынок — это оборот капиталов, курсы валют, налоги, законы, а вовсе не марки оборудо-

вания, проектные мощности и технические инструкции.

Когда я приступил к статье (в начале 1990 г.), то позволил себе один прогноз. После приведенного выше абзаца шли слова: «Поэтому я пессимистично смотрю на будущее нашего правительства. Мое мнение: ему не выжить, ибо оно профессионально не готово к встрече с рынком. Раскрутив маховик инфляции, правительство выступает теперь в роли благородного спасителя общества от нее. Антиинфляционную программу намечено реализовать к 1993 году. Прогноз: она «завалится» через год-полтора, ибо рассчитана на социально-экономический статус-кво в обществе, в то время как социальный «котел» доведен до крайней точки кипения и грозит взорваться в любую минуту. Правительственная программа запоздала на несколько лет. В обществе идут спонтанные процессы, над которыми правительство уже не властно». Увы, я ошибся в сроках. Та правительственная программа лопнула через четыре месяца, и появилась новая.

Риф 3. Общество слишком сложный организм, чтобы ожидать от него только желаемые реакции. Но — ожидают. Отсюда столь долгое фатальное расхождение планов нашего руководства с жизнью. Оно имело бы место даже в том случае, если бы руководство всегда следовало своим же громогласно провозглашаемым принципам. Парадокс же заключается в том, что руководители страны часто и не пользовались тем, что могло стать их оружием. Вспомним ряд примеров подобной непоследовательности. Так, было заявлено: перестройка — это возвращение к правовому государству. Казалось бы, где как не в деликатной сфере международных отношений опираться на правовые демократические нормы! Но...

В декабре 1986 году снимают Кунаева, а на его место сверху присылают секретаря Ульяновского обкома. Альтернативных кандидатур нет. Группы казахской молодежи выходят на улицы с протестом. Их обвиняют в национализме.

Февраль 1988 года. Сессия Совета Нагорно-Карабахской автоном-

ной области, после многолетних попыток обратить внимание «верхов» на незавидное положение НКАО, принимает решение о выходе из состава Азербайджанской ССР. По Конституции СССР рассматривать вопросы межнациональных отношений должен Совет Национальностей Верховного Совета СССР. Казалось бы, именно ему и надо разобраться во взаимных обидах и найти компромисс. Но вместо этого последовало решение из Москвы снять первого секретаря обкома и председателя облисполкома. В ответ взрыв возмущения и всеобщая забастовка. И уже вслед за ней в Сумгаите и Баку вспыхнули волнения.

1989 год. На Западной Украине люди греко-католического вероисповедания просят легализовать их церковь, запрещенную в 1946 году. И получают отказ. Начинается кампания борьбы за гражданские права верующих, перерастающая в конфронтацию с Москвой.

С прагматической точки зрения необъяснима и реакция Кремля на инициативу балтийских республик, пожелавших перейти на региональный хозрасчет с ориентацией во внутренних расчетах на мировые цены. Казалось, «прыгай на одной ножке» от радости, награди авторов проекта орденом за то, что республики добровольно согласились поставить на себе эксперимент по переходу к рыночной экономике. Ведь на Балтии можно было апробировать рыночные механизмы, лабораторные идеи и концепции, увидев на деле их плюсы и минусы. Вместо этого — долгие препирательства и выход Литвы из СССР в качестве их закономерного результата. Правда, «помосковски» Литва все еще была в Союзе. Но этому могут поверить только политически наивные люди. Так называемое «возвращение» было даже не пирровой победой Москвы, а временным перемирием, что-то вроде Брест-Литовского мирного договора. Причем в конфликте с Вильнюсом Кремль не смог найти сразу простой тактический ход: вместо блокады достаточно было потребовать от литовцев платить за товары из СССР валютой по мировым ценам, резко сократить закупки литовской про-

дукции и спокойно ждать, пока население Литвы не заложит последние щиты!... Но из всех вариантов Центр «принципально» предпочитает самый любовой.

Экономические просчеты усугубили национальные взаимоотношения. Наш хилый интеграционный рынок стал выступать как дезинтеграционный фактор. Часть республик потребовала перестройки федеративных связей в конфедеративные, чтобы затем без помех со стороны Центра примкнуть к другим общественно-политическим системам. Поэтому полноценной федерацией может стать лишь РСФСР — в силу того, что автономным республикам, даже получившим союзный статус, будет некуда бежать из-за своего географического положения.

Руководство страны и компартии не смогло противопоставить этому процессу разрыва ничего конструктивного. Разве не пустой оказалась платформа ЦК КПСС по национальной политике (1989 г.), если на ее основе не удалось своевременно выработать даже столь остро необходимый проект союзного договора? Для чего она принималась: для дела или в качества материала по теме «Национальная политика КПСС на современном этапе» в сети политпросвещения? Ведь платформа не оказала никакого практического влияния на национальные процессы в стране.

Декларацией остались и заявки на демократизацию партии. А ведь на волне критики старых кадров, отчетливо прозвучавшей на XIX партконференции, на фоне оживления в низовых парторганизациях М. С. Горбачев мог бы сломить сопротивление «старой гвардии», качественно обновить ЦК КПСС и провести подлинно глубокие структурные преобразования партийного механизма, оставшегося без существенных изменений со сталинских времен. Вместо этого удивленным членам партии стал демонстрироваться малопонятный «центризм» в сочетании с перманентным оптимизмом, и все это сдабривалось

¹ Надеюсь, читатель поймет меня правильно: я не мечтаю раздеть литовский народ, который заработал право на высокий уровень жизни. Просто структуру экономики нельзя изменить одним росчерком пера.

призывами к консолидации — без разъяснения, кого с кем и во имя чего. Ну а такие вещи, как значительное повышение заработной платы работникам партийного аппарата, вообще поставили в тупик любого человека, пытавшегося соотнестись с сей факт с принципами перестройки.

Критика политбюро на съездах компартии РСФСР и КПСС была более чем естественной, ибо его вялая деятельность в 1989—1990 гг. дала коммунистам обильную пищу для возмущения. Приходится констатировать: если одни «не могут поступиться принципами», то другие не могут усвоить провозглашаемые ими же принципы. Правда (в качестве защиты руководства), будущим историкам перестройки, наверное, предстоит выяснить: а было ли в партии, собственно говоря, единое политбюро, или оно потому и действовало безвольно, что представляло собой разношерстный конгломерат сил, имеющих между собой мало общего? Возможно, здесь и кроется источник хронической задержки реформ. Даже с созывом XXVIII съезда КПСС запоздали по меньшей мере на полгода, и он стал мероприятием вдогонку политическим событиям. На съезд съехались не столько делегаты КПСС, сколько представители целого ряда партий, фракций и течений под одной крышей.

Перестройка фактически свелась к тому, что были «отпущены вожжи» и случилось то, чего никто, кажется, не ожидал. «Кони» понесли, да еще в разные стороны. Могло ли быть иначе? Совокупный опыт СССР и других социалистических стран указывает на объективный характер происшедшего. По стране гуляет афоризм: «Империю не ре-

формируются, они разваливаются». Как если бы перед толпой людей, замаявших в тесноте да обиде за высокой оградой, вдруг неожиданно распахнули ворота — такой получился эффект... Но тогда, может быть, не за что винить руководство? Конечно, нет смысла критиковать его за то, чего правительство и политбюро заведомо не могли предугадать. Речь только о том, что они предусмотреть могли, если бы были достаточно компетентными, последовательно радикальными и энергичными. Единственно, что руководство продемонстрировало в полной мере, так это желание вскочить в уходящий поезд современной цивилизации.

И все же в его активе и критика прошлого, и снятие цензуры, и отмена монополии КПСС в политической жизни, и вывод войск почти что со всех зарубежных территорий, и ряд других демократических мероприятий. Глубинной бедой, если можно так выразиться, этого руководства является то, что сама перестройка оказалась переходным этапом от одной ступени развития общества к другой, от одной формации к другой. Потому и правительство оказалось переходным, неся в себе (перефразируем Маркса) «родимые пятна бюрократического социализма». В этом противоречии и заключается весь драматизм М. С. Горбачева и его «команды».

Р. С. Возможно, у меня в тексте разбросано слишком много вопросов, ответы на которые не полны. Но ведь все мы находимся пока внутри неостывшего, раскаленного процесса, потому диагноз требует проверки, в истории болезни не хватает фактов, а бланк с заключением о смерти еще остается чистым...

ОТ РЕДАКЦИИ. Тема, поднятая Б. Шапталовым, безусловно требует развития. Мы попросили известного публициста, политолога Л. Баткина прокомментировать статью и изложить свой взгляд на дальнейшее развитие ситуации в стране. Предлагаем вниманию читателей запись разговора с ним, состоявшегося в конце ноября прошлого года. Когда вы получите этот номер журнала, многое на политической арене станет уже иным, но векторы развития, мы полагаем, останутся прежними.

ЦЕНА РАСПАДА

Я согласен с автором «Рифов» в том, что перестройка была попыткой реформации социализма. Этот термин придуман руководством КПСС, понявшим необходимость реформирования партии и режима. Давайте и мы понимать перестройку в официальном значении этого термина — как попытку модернизации партократического режима.

Но я не согласен с Б. Шапталовым в датах эпохи перестройки. В 1985 году началась только некая оттепель под лозунгами ускорения, научно-технического прогресса и т. п. Собственно перестройка, если быть более точным, началась в январе 1987 года, когда на пленуме ЦК КПСС Горбачев впервые провозгласил курс на демократизацию и гласность. 1987 год прежде всего дал нам гласность, которая затем развилась в свободу слова — в более или менее разрешенных пределах, причем, что неизбежно, она стала перехлестывать и через эти пределы. И в 1988 году перестройка дала главный, с моей точки зрения, результат: возникновение неформальных организаций, то есть, в переводе на человеческий язык, организаций, не зависящих от КПСС, какими в Прибалтике прежде всего стали народные фронты. Одновременно начались национальные, национально-государственные и вообще локальные движения, которые, несмотря на крайне разную их природу, почву, характер, в целом можно определить как движения центробежные, положившие начало развалу империи.

Кульминацией перестройки явилась частичная избирательная реформа, выборы и первый Съезд народных депутатов СССР. Причем первый съезд, ничего не решивший, кроме избрания Горбачева Председателем Верховного Совета СССР, обозначил не только кульминацию, но и исчерпание перестройки. Поэтому я исторически перестройку

датирую следующим образом: январь 1987 года — лето 1989 года.

Начиная с сентября 1989 года стало ясно, что попытка реформировать партократический режим провалилась, реформистские ресурсы КПСС исчерпаны. Началась эволюция Горбачева вправо. Примеров тому множество. Упомяну только принятие в сентябре 1989 года национальной программы КПСС, которая показала, что партия и Горбачев не в состоянии действительно реформировать, то есть распустить, СССР и установить на новых началах отношения между республиками и народами. Были выпады против прессы и либеральной интеллигенции, было многое другое, что в конечном счете сконцентрировалось в нежелании обсуждать на втором Съезде какие бы то ни было существенные вопросы, начиная с аграрной реформы и кончая пресловутой 6-й статьей Конституции.

Крах восточноевропейских режимов, показавший наличие альтернативы, еще больше напугал нашу партийно-государственную верхушку. И с осени 1989 года страна оказалась перед историческим выбором, который можно сформулировать таким образом: или полное мирное уничтожение неототалитарного режима — вариация того, что произошло в Праге, Берлине, Варшаве, да и у нас в феврале 1917 года, или попытка углубить перестройку. Но выяснилось, что такое углубление немыслимо, дальнейшие шаги вперед означают уже переход от перестройки к уничтожению партийной власти. Так, на протяжении двух-трех месяцев осени 1989 года кризис и исчерпание перестройки стали совершенно очевидными. И тогда Андрей Дмитриевич Сахаров призвал всех порядочных, демократически настроенных людей, в частности депутатов съезда, к переходу в оппозицию, к

массовым непарламентским действиям, ко всеобщей забастовке. Призыв этот был плохо понят, а между тем он оказался предвестием последующих событий.

Весь 1990 год мы потеряли. Конечно, продолжалось развитие национально-государственных процессов, продолжался развал режима. Но если мы хотели осуществить пусть не плавный, не благополучный, но хоть сколько-нибудь приемлемый, сознательный переход к новым формам жизни, то мы это время упустили. Теперь надежд на парламентское разрешение кризиса путем чисто политическим становится все меньше.

Б. Шапталов пишет, что руководству страны не хватило политического, экономического, юридического профессионализма. Профессионализма, действительно, фатально не хватает. И не только правящей московской верхушке. Политического профессионализма во многих случаях не хватает и демократам, в том числе в Балтии. Но дело не в этом. Отсутствие профессионализма и сверху, и снизу в свою очередь закономерно. Снизу, надо надеяться, он будет в конце концов приобретен, возникнет новая политическая культура; я думаю, она уже намечается в Балтии, в какой-то мере в Москве, Ленинграде, на Урале. А сверху профессионализм немислим. Аппаратчики не могут быть профессионалами, потому что они не могут быть политиками. Они играют по совершенно другим правилам, и было бы опрометчиво говорить о том, что Горбачев — политик, имея в виду внутреннюю жизнь страны. Возможно, Михаил Сергеевич учится быть политиком по мере того, как он сталкивается с общественными силами, поведение которых нельзя отрегулировать при помощи команды. Но, боюсь, психология у Горбачева совершенно аппаратная. А аппаратное искусство отличается от политического примерно так же, как преферанс от шахмат. Поэтому говорить о человеке, который великомерно блефует, делая ставки в преферансе, как о политике — было бы преждевременным...

Дело, повторю, не в отсутствии профессионализма, а в объективной значимости этого отсутствия,

в невозможности профессионализма для аппарата. Горбачеву не так легко забыть свое аппаратное прошлое и психологически, и по соотношению тех объективных сил, которые за ним стоят и на которые он должен так или иначе оглядываться: это по-прежнему партийный аппарат в большинстве регионов страны, хозяйственная бюрократия, армия, ее генералитет, КГБ. Горбачев пытается действовать по правилам аппаратной игры, не замечая, что преферанс давно кончился. Поражает само мышление человека, который все то, что ему не нравится, с чем он борется в политической жизни, хотел бы отменить с помощью словесных жестов. Словно стоит издать указ о том, чтобы договорные экономические отношения осуществлялись, и они начнут осуществляться. Чтобы республики угомонились — и они станут во фрунт...

Президент не властен изменить ход исторических событий и загнать в бутылку того джинна, который вырвался из нее во многом благодаря самому Горбачеву, открутившему пробку.

Нынешний этап — этап исторического промежутка, паузы между окончившейся перестройкой и неизбежным падением режима. Весь вопрос только в том, какую историческую цену придется нам всем заплатить за это падение. И Горбачев по существу делает все более невозможной относительно более легкую цену. Горбачев оказался не в состоянии сделать левоцентристский выбор, не смог заключить долговременного соглашения с Ельциным. И, хочешь не хочешь, стал самым умеренным среди правых... Человек, который так любит повторять сакраментальную фразу о том, что разум должен возобладать над эмоциями, сам оказался в плену собственных эмоций или, если угодно, аппаратного разума, что в данном случае одно и то же.

В определенном смысле меня можно по-прежнему назвать мрачным оптимистом. Только мой оптимизм относится теперь к сравнительно отдаленному будущему. Я считаю, что в исторической перспективе десяти или двадцати лет страна модернизируется. С извест-

ного момента, когда входящие в СССР страны обретут реальную государственную независимость, распад страны сместится центро-стремительными процессами. Совершенно заново будут строиться все экономические, политические и культурные связи. Предстоит процесс новой интеграции, связанный с тяготением к России, ее богатейшим экономическим возможностям, ее рынку. Но это будет следующий виток спирали, пока же она раскручивается в противоположном направлении. Я вовсе не представляю это движение гладким, вполне реальным опасности воспроизводства в республиках грубого авторитаризма — корешки его проросли слишком глубоко. Но исторический оптимизм, на котором я настаиваю, связан с тем, что глобальные условия все больше будут значимы и в любых региональных, локальных масштабах. Слава Богу, мы начинаем воспринимать современный мир западного типа как свое реальное историческое окружение. Именно сейчас, а не при Сталине, Брежнев, мы оказались в капиталистическом окружении. И не надо быть пророком, чтобы предвидеть, что и Россия, и Латвия во все возрастающей степени будут вписываться в современный глобализм. Поэтому те или иные откаты вряд ли лишат нас конечного результата, который, по моему убеждению, состоит в том, что весь мир будет становиться современным. Причем разнообразие самой современности колоссально увеличится. Когда-то европеизм и американизм были модусами современного мира, после второй мировой войны появились японский и другие дальневосточные варианты, укрепив вариант латиноамериканский. Можно предположить, что в будущем появятся и российский, и китайский, и исламский варианты разнообразного и единого мира. Но это достаточно отдаленное будущее.

Возникают трагические ножицы между тем, что можно увидеть в нашем будущем, экстраполируя на него мировой опыт, и тем, что можно ожидать завтра. А ближайший прогноз оказывается все более мрачным. В чем объективная опасность курса Горбачева осени

1990 года? После того как окончательно исчезли надежды на левоцентристский поворот руля, можно ожидать нарастания хаоса и неизбежной стихийной реакции миллионов людей, в особенности в России. Миллионы выйдут на улицы, и, если у них не будет конкретной программы и разумного руководства, в такой стране, как Россия, ничего веселого из этого не выйдет. И разрыв между политической мрачностью и историческим оптимизмом можно преодолеть только при помощи чрезвычайных мер.

Я считаю, что нужно всерьез обдумать небывалый в мировой истории шаг, когда сами парламенты и правительство России призовут людей к непарламентским действиям. Другого выхода из этой ситуации, если следует окончательно перечеркнуть надежды на Горбачева, на то, что он будет хотя бы сохранять доброжелательный нейтралитет по отношению к национально-государственным процессам, — я уже не вижу.

Единственный человек, которому под силу осуществить подобный шаг, — Ельцин, поскольку нет больше такой фигуры и, к сожалению, такой организации в России, которые были бы достаточно авторитетными для того, чтобы организовать, скажем, всеобщую предупредительную забастовку, которая могла бы мгновенно изменить ситуацию, как это произошло в Берлине. Но по призыву Ельцина народ России еще может подняться. И если бы его поддержали народы, входящие в нынешний Советский Союз, это имело бы еще большее значение.

Я думаю, что должны быть выдвинуты конкретные требования. Убрать центральное правительство и заменить его на переходный период таким всесоюзным органом, в котором были бы заинтересованы и Латвия, и Литва, и Эстония, и Грузия — те страны, которые не намерены подписывать союзный договор. Причем заменить на правительство совершенно новой структуры, а не только новых людей. Нужно требовать роспуска дискредитировавших себя Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР и заменить их законодательным органом, в который все

республики делегировали бы на **переходный период** своих постоянных представителей. И нужно немедленно перейти к экономической реформе в масштабе всех республик, входящих в нынешний Советский Союз. Здесь необходима координация всех республик. (Когда Горбачев говорит о том, что мы не выберемся из ямы поодиночке — это верно. Но Горбачев подразумевает, что мы можем выйти только под руководством «центра». Демократы вкладывают совершенно иной смысл — мы выберемся лишь путем непосредственных контактов между республиками.)

Только так, на мой взгляд, можно ликвидировать нынешнюю ситуацию. Иначе неизбежны стихийные волнения и реакции военного порядка. И боюсь, что нас это ожидает очень скоро...

Я не думаю, что есть практическая необходимость в требовании ухода Горбачева. Но он должен сотрудничать с другим законодательным органом — вместо послушного парламента, бунтующего на коленях. Он должен сотрудничать с руководством республик, обладающим реальной властью на местах. Он должен повернуть влево и поддерживать левоцентристское направление, и только тогда может быть использовано всерьез преимущество имиджа Горбачева за рубежом. Сейчас же этот имидж все больше работает в неблагоприятном направлении. Потому что Запад с трудом протирает глаза и начинает отдавать себе отчет в том, что поведение Советского Союза на внешнеполитической арене в огромной мере связано с внутренним положением в стране. И вести переговоры с лидером, популярность которого у населения упала до 20 процентов, значит иметь дело с ненадежным партнером. Безусловно, необходимо использовать инерцию внешнеполитических успехов Горбачева и предоставить ему возможность закреплять эти успехи. Но внутри страны его роль должна быть радикально иной. Ибо внутри страны Горбачев все в большей мере становится главным препятствием для перехода от перестройки к ликвидации партократического режима.

Такова его двусмысленная роль. Горбачев был инициатором официальной перестройки, и он же является вождем тех сил, которые дальше перестройки идти не хотят. Он не способен сдерживать раздражения против демократических сил, национально-государственных тенденций. И когда он говорит — хватит отступать, надо наступать, — я воспринимаю это как недвусмысленную угрозу, обращенную влево. Горбачев явным образом дезориентирован и не понимает масштаба тех событий, которые его несут. Ему придется проявить большую разумность или уйти. Не потому, что этого добивается та или иная сила, а потому, что он все более оказывается и может оказаться окончательно фигурой, политически неадекватной характеру событий. А что касается того, что Горбачев незаметим как человек уважаемый и любимый Западом, так Запад будет иметь дело с любым сильным лидером, который вне страны будет вести линию в том же направлении, что и Горбачев, но при этом пользоваться большей поддержкой внутри страны.

СССР распадается, но еще не распался. Можно провозгласить государственную независимость и намерение установить таможи, принять свои законы, создать свою армию, ввести свои деньги. Но от этого опасность катастрофы не исчезает. Нельзя путать проблемы национально-государственной независимости и распада СССР в этом плане и проблемы реально-экономические, проблемы переходного периода вообще, которые все равно предстоит решать вместе. Я очень надеюсь на существенную заинтересованность республик в том, что происходит в Москве. Конечно, можно рассуждать так: делайте у себя что хотите, устанавливайте любой режим, а мы у себя будем делать свое. Это тоже вариант, но мучительный. Не лучше ли добиться преобразований в центре, с тем чтобы заменить центр точкой фокусировки общих интересов на период до подписания нового договора. Или его неподписания. Не это сейчас важно. Важны реальные отношения между населением этих республик, их экономическими интересами и мощностями. И здесь,

по-моему, тоже уже достаточно сделано ошибок.

Ради политических демонстраций и чувств упускались возможности более активно повлиять на то, что происходило в Москве. Если на первом этапе, в период перестройки, мы воспринимали Прибалтику как авангард общего демократического движения, то в дальнейшем ситуация выглядела более сложно. Прибалтика отошла в сторону и стала наблюдать, что происходит с демократическими силами России. А с ними ничего хорошего не происходит. Они не сумели создать своего массового, широкого, влиятельного движения. Демократы России оказались слабее, чем в Прибалтике. И одна из причин этого состоит в том, что они уже не могли опереться на помощь балтийских демократов, на их реальное участие.

Надо искать способы совместить интересы национально-государственной независимости, к которой идут и придут Балтийские страны, и той переходной ситуации, когда мы все еще сидим в одной лодке.

Балтийские страны, балтийские национальные демократические движения должны искать способы более активно влиять на то, что происходит в сердце России. Искать формы сотрудничества, союзничества с демократическими силами России. И делать это не ради России, а ради того, чтобы в меру своих сил помочь обеспечить, в конечном счете, в Москве такое правительство, такую власть, при которых заключительная, зрелая стадия освобождения Балтийских стран окажется наиболее безболезненной и быстрой.

Это — некоторая историческая принудительность, от которой нельзя отделаться жестами, даже самыми искренними. От того, договорятся ли Горбачев с Ельциным, зависит и судьба Балтии. От того, будут ли кровавые потрясения и

вмешается ли армия в ход событий внутри России, — зависит судьба Балтии. И от того, кто будет премьер-министром России и во главе какого кабинета он будет стоять, — тоже зависит судьба Балтии.

До недавнего времени я считал, а в какой-то мере считаю и сейчас, что военный переворот у нас невозможен. Военный переворот в классическом виде. Пока что. Но совсем иначе следует посмотреть на степень вероятности вмешательства военных под руководством верховного главнокомандующего. Это более серьезный вариант, хотя и он, по-моему, не стоит еще в повестке дня. Но исключать его полностью ни один серьезный политик не в состоянии. И это также одна из причин, по которой я призываю страны Балтии отказаться от позиции безучастности. В Прибалтике любят говорить, что Латвия, Литва и Эстония — суверенны, а СССР — уже другое государство. Но Балтия решающим образом зависит от этого другого государства и решающим образом заинтересована в том, как разрешится его трагическая нестабильность. И в этом плане де-факто — все интересы Балтии внутри этого государства, хотя все эмоции, правовые позиции, исторические воспоминания уводят ее прочь.

Интересы Балтии связаны с тем, чтобы уйти. Но надо еще собрать чемоданы. Необходимо, чтобы дверь оказалась реально открытой. Уходя, нужно замешкаться и посмотреть, что Балтия оставляет здесь, в России, тем более, что в любом случае она будет сосуществовать с ней рядом. Слишком далеко Балтии не уйти, не дальше восточного побережья Балтийского моря. И Россия всегда будет для нее геополитическим фактором номер один. Может быть, наряду с будущей Германией.

Зеев БАР-СЕЛЛА

«ТИХИЙ ДОН» ПРОТИВ ШОЛОХОВА

Проблема авторства романа «Тихий Дон» — проблема непростая. И первый вопрос, на который необходимо ответить, — обоснованно ли утверждение, что автор этот — не Шолохов?!

Все выдвинутые до сих пор возражения против шолоховской кандидатуры («случай, небывалый в мировой литературе...», «материал, далеко превосходящий жизненный опыт и уровень образованности [4-классный]...», «художественная сила, которая достижима лишь после многих проб опытного мастера...», «слишком много чудес!» — А. Солженицын) являются умозрительными.

От таких вопросов можно уйти (и уходят) с легкостью: если Шолохов — автор романа, тогда он — гений! А гению закон не писан!

Остается, однако, главный свидетель обвинения — роман «Тихий Дон». Роману рот не заткнешь! Продолжим же слушание показательного романа...

СТОЛЫПИНСКИЙ ГАЛСТУК

Сюжет главы 14-й части первой несложен: Степан Астахов, известный об измене жены, возвращается домой после лагерных сборов; дома он зверски избивает Аксиныю; расправе пытаются помешать два брата Мелеховы — Петро и Григорий... Финал главы:

«С этого дня в калмыцкий узелок завязалась между Мелеховым и Степаном Астаховым злоба.

Продолжение. Начало см. «Даугава» № 12, 1990 г.

Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпинным».

И, действительно, согласно 4-й главе части 4-й, в бою под городом Столыпинным Григорий Мелехов спасает Степану Астахову жизнь.

Рассказ об этом спасении включен в занимающее три страницы изложение воспоминаний Григория о военных событиях 1915—1916 годов (майские бои под деревней Ольховчик; июльские — под Равой-Русской; стычка под Баянцем; город Столыпин; Луцкий прорыв в мае 1916-го)...

Никаких противоречий здесь вроде бы не обнаруживается. Разве что захочется задать один вопрос.

Рава-Русская, Луцк, Баянец, Восточная Пруссия, Столыпин... Стоп! Нет такого города. Рава-Русская есть, Луцк имеется, а Столыпина нет. Был, правда, один — Столыпин, Петр Аркадьевич. Да только он не город, а Председатель Совета Министров...

Зайдем с другой стороны. Когда состоялся этот бой? С. Н. Семанов, составивший биографию Г. П. Мелехова, относит его к 1915 году*. Действительно, в тексте рассказ помещен после воспоминаний о боях летом 1915 года и перед мыслями о Луцком прорыве в мае 1916-го. Значит, Восточная Пруссия, лето 1915-го? Но летом 1915-го никаких

* Семанов, С. Н. Григорий Мелехов (Опыт биографии героя романа М. Шолохова «Тихий Дон»). — альм. «Прометей», т. II, М., «Молодая гвардия», с. 112.

боев в Восточной Пруссии не было. Что ж было? А было то, что после Августовской оборонительной операции русская армия Восточную Пруссию оставила. Имя же свое Августовская операция получила не по времени (месяц август), а по месту — город Августов. Началась же эта операция 25 января и закончилась 13 февраля 1915 года (7—26 февраля по новому стилю). Вернуться в эти места русские смогли ровно через 30 лет — в январе 1945-го.

Прекрасно! А что мы видим в тексте?

«Казачьи кони копытили аккуратные немецкие поля...» (ч. 4, гл. 4).

Не снег на полях, а поля! Но если поле снегом не занесло, зимой следа на нем не оставишь, промерзшая земля под копытом не вдавливается, а звенит!

«Ветер сорвал с Григория фуражку...» (ч. 4, гл. 4).

Фуражку, а не папаху, как положено по уставу! А ведь в русской армии по сию пору переход на зимнюю форму одежды происходит в октябре. Значит, для Григория Мелехова и всего 12-го казачьего полка лето 1915 года наступило в январе?!

Существует ли какое-то объяснение этому разгильдяйству?

Да, и ключ к загадке — город Столыпин.

«Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпным» (ч. 1, гл. 14).

Дело в том, что по внутренней хронологии романа (с этим согласен и С. Н. Семанов — Указ. соч., с. 108) драка братьев Мелеховых со Степаном Астаховым произошла в середине лета 1912 года. И, следовательно, слова «два года спустя» означают — лето 1914 года! Тут, как нельзя кстати, «город Столыпин». Это четкое и недвусмысленное указание на один-единственный день — 4 (17) августа 1914 года.

Города Столыпина на карте Восточной Пруссии нет и не было. Был город Stalluponen, в нынешнем русском написании Сталюпенен или (более близком к немецкому оригиналу) — Шталлюпенен. На русских же штабных картах 1914—1915 го-

дов город этот назывался: Сталюпененъ. Он дал имя первой в европейской войне наступательной операции русских войск — Сталлюпененское сражение.

Для чего пришлось переименовать славное в истории русского оружия имя? Ведь «Столыпным» он назван дважды, причем не в речи персонажей, а в авторской! А правильно он вообще ни разу не назван!

Причина — Шолохов. Он не сумел прочесть название города в рукописи и, переписывая, поставил, вместо правильного (в том числе и грамматически): «под городом Сталупенен», свое дурацкое: «под городом Столыпным».

Нас поджидает, однако, еще один сюрприз: дело в том, что Григорий Мелехов никоим образом не мог спасти Степана Астахова в Сталюпененском сражении, поскольку с июля по август 1914 года безотлучно находился в рядах 8-й армии, действовавшей на Юго-Западном фронте (ч. 3, гл. 5, 10—13, 16, 17, 20), откуда по ранению (ч. 3, гл. 20) отбыл прямо в московский госпиталь (ч. 3, гл. 21, 23).

Как это все понять, объяснить? Объяснение одно: замысел романа сформировался не сразу, и Автор какое-то время колебался, на какой фронт — Северо-Западный или Юго-Западный — послать своего героя. Иными словами, Автор не сразу решил какой роман писать — «Тихий Дон» или «Август Четырнадцатого».

Отправив Григория Мелехова в Галицию, Автор тем не менее захотел сохранить эпизод его встречи со Степаном Астаховым. Он перенес этот фрагмент в начало следующей части и поместил его среди воспоминаний о событиях 1915—1916 годов. Автор не преуспел в одном: не успел выправить датировку в части 1-й («два года спустя») и не устранил приуроченность эпизода к Сталлюпененскому сражению.

Шолохов так никогда и не понял, какую ловушку смастерил ему Автор; в издании 1945 года он отважился лишь на одну поправку: заменил «ы» на «о», так что теперь читается: «под городом Столыпным».

БЕГЛЕЦ

Вторая подглавка 2-й главы 4-й части повествует о дальнейшей судьбе Ильи Бунчука, дезертировавшего в главе 1-й;

«Через три дня, после того, как бежал с фронта, вечером Бунчук вошел в большое торговое местечко, лежавшее в прифронтной полосе. В домах уже зажгли огни. Морозец затянул лужи тонкой коркой льда, и шаги редких прохожих слышались еще издали. Бунчук шел, чутко вслушиваясь, обходя освещенные улицы, пробираясь по безлюдным проулкам. При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль и теперь шел с волчьей торопкостью, прижимаясь к заборам, не вынимая правой руки из кармана невероятно измазанной шинели — день лежал, зарывшись в стодоле в мякину.

В местечке находилась база корпуса, стояли какие-то части, была опасность нарваться на патруль, поэтому-то волосатые пальцы Бунчука и грели неотрывно рубчатую рукоять нагана в кармане шинели».

Вчитаемся во второй абзац — что нового мы узнали? Ну, например, что «в местечке находилась база корпуса», а потому «была опасность нарваться на патруль». Но указание на эту умозрительную опасность, призванное объяснить осторожность Бунчука, для читателя не обладает такой уж непреклонной ценностью. Ему — читателю — достаточно было бы информации, полученной из первого абзаца:

«При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль».

Так наткнулся или не наткнулся, умозрение или реальность?

И то и другое, потому что — два варианта:

«При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль и теперь шел с волчьей торопкостью, (...) не вынимая правой руки из кармана невероятно измазанной шинели».

«В местечке находилась база корпуса, стояли какие-то части, была опасность нарваться на патруль, поэтому-то волосатые пальцы Бунчука и грели неотрывно рубчатую рукоять нагана в кармане шинели».

Нетрудно обнаружить, что второй абзац дублирует заключительную часть первого.

О цели такой авторской щедрости говорить, по-видимому, не приходится — один из вариантов черновой и отброшенный. Какой из двух? На этот вопрос нам даст ответ глава 28-я части 5-й (в первых изданиях глава 29-я). Она по-

вествует о пленении восставшими казаками экспедиции Подтелкова. Жизни Бунчуку остается еще на две главы, и заготовки к описанию его идут в дело:

«Бунчук подошел к своей брчке, стоявшей возле амбара, кинул под нее шинель, лег, не выпуская из ладони рубчатую револьверную рукоять. Вначале он подумал было бежать, но ему претили уход тайком, дезертирство...»

В этой фразе нашли свое место и «шинель» и «рубчатая рукоять» нагана (наган, как известно, пистолет револьверного типа). Не случайно вспыхивают у Бунчука мысли о бегстве и дезертирстве — они навеяны ему 2-й главой 4-й части.

Подчеркнем одно важное обстоятельство: отброшенные варианты Автором сохранялись с целью возможного их использования в будущем. Отброшенные фрагменты не вымарывались, что и явилось причиной введения их М. Шолоховым в беловой текст.

1812

Очень редко, да и то, говоря лишь о персонажах, казачеству чуждых, автор «Тихого Дона» позволяет романному слову растечься по генеалогическому дереву. Таков, например, рассказ об отце сотника Листницкого:

«Старый, давно овдовевший генерал, жил в Ягодном одиноко. Жену он потерял в предместье Варшавы в восьмидесятих годах прошлого столетия. Стреляли в казачьего генерала, попали в генеральскую жену и кучера, изрешетили во многих местах коляску, но генерал вылезел. От жены остался двухлетний тогда Евгений. Вскоре после этого генерал подал в отставку, переехал в Ягольное (земля его — четыре тысячи десятин — нарезанная еще прадеду за участие в Отечественной войне 1812 года, находилась в Саратовской губернии) и эжил чернотелой, суровой жизнью» (ч. 2, гл. 14).

Таков облик текста в издании 1956 и последующих годов. По сравнению с изданиями 1928—1953 годов в нем произведены два изменения. Первое касается польских дел (ранее в генерала стреляли не «в предместье», а «в предместьях» Варшавы): второе — земельная: до 1956 года земля в Саратовской губернии нарезалась прадеду генерата за участие не «в Отечественной войне 1812 года» но «в Отечественной 1812 года войне».

Сочетание «война 1812 года» получено простым изменением порядка слов и, действительно, не режет ни глаз, ни слух, чего не скажешь о «1812 года войне». Быть может, необычным последнее сочетание стало лишь в наши дни? Ничуть не бывало, сошлемся лишь на заглавия двух книг: М. Богданович «История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам. Составлена по Высочайшему повелению» (тт. I—III. СПб., 1859—1860) и сборник «Генерал-квартирмейстер К. Ф. Толь в Отечественную войну 1812 года» (СПб., 1912). Так что, порядок слов издания 1956 года был правильным и в 1928, и в 1968 годах.

Правильным, но не единственно возможным. Приведем для примера две другие книжные публикации: Н. Дубровин «Отечественная война в письмах современников (1812—1815)» (СПб., 1882) и В. И. Гомулицкий (Гео) «Отечественная война. Работа по обнародованию документов» (Варшава, 1902). Итак, во второй половине XIX и в начале XX веков употреблялись два обозначения. Были ли они равноправны? Видимо, нет. Полная форма — Отечественная война 1812 года — была принадлежностью официальной публицистики (трехтомник М. Богдановича, например, был составлен «по Высочайшему повелению»). Массированное вторжение официального наименования в язык можно с уверенностью датировать 1912 годом — празднованием столетия Отечественной войны, когда прессу и книжный рынок захлестнул мощный поток юбилейной литературы.

Но в тексте «Тихого Дона» мы обнаруживаем не «Отечественную войну 1812 года», а какой-то странный гибрид двух форм «Отечественная 1812 года война!»

Единственным разумным объяснением этого казуса может быть лишь допущение, что в первоначальное написание:

«(...) земля его (...) нарезанная еще прадеду за участие в Отечественной войне, находилась в Саратовской губернии»

— была внесена надстрочная правка:

1812 года
«(...) за участие в Отечественной войне, находилась (...)».

Шолохов, копируя рукопись, просто-напросто вставил слова «1812 года» на неподходящее место.

Но сделал такое допущение, мы обязаны ответить и на вопрос: чем была вызвана правка? Ведь до того, как началась другая Отечественная — Великая, 1941—1945 годов, автор, написавший «Отечественная война», мог быть уверен, что его поймут правильно. А вставка в текст была произведена заведомо раньше 1928 года!

Обратимся поэтому к другому времени и к другой войне. С 1914 по 1918 год на пространствах Европы и Передней Азии шла война, которую мы называем первой мировой, а современники именовали Великой, европейской, германской, империалистической. Существовал, однако, краткий период, когда со всеми этими наименованиями конкурировало другое: с июля 1914 по 1915 год в России войну официально называли Второй Отечественной... (см., например, коллажи из газетных заголовков в «Августе Четырнадцатого» А. И. Солженицына: «Думайте теперь же о Музее Второй Отечественной войны!» и др.).

Только в этот период и имело смысл уточнять, о какой Отечественной войне идет речь.

Из вышесказанного следуют два вывода:

1. Правка вносилась в текст, написанный до июля 1914 года.

2. В 1916 году наименование «Вторая Отечественная» полностью исчезает из языка. Следовательно, правка вносилась в текст не позднее 1916 года.

На основании этих двух выводов мы приходим к заключению:

К июлю 1914 года две части первой книги романа были в основном написаны. Не позднее 1916 года Автор приступил к переработке романа.

РУССКИЙ ДУХ

В ноябре 1916 года на побывку с фронта прибыл в хутор Татарский Митька Коршунов — «друзьяк» и шурин Григория Мелехова:

«Митька пробыл дома пять дней. (...) Как-то перед вечером заглянул и к Мелеховым. Принес с собой в жарко

натопленную кухню запах мороза и незабываемый едкий дух солдатчины» (ч. 4, гл. 6).

Какой странный эпитет — «незабываемый»... Кто не мог забыть этот запах? Митька? Но он-то уж точно к своему запаху привык. В курене Мелеховых Митьку встретили Дарья, Ильинична и Пантелей Прокофьевич. Однако про Пантелея Прокофьевича сказано, что он «сидел, не поднимая опущенной головы, будто не слышал разговора»; значит, и резиньични по поводу запаха исходят не от него: Что же касается женщин, то они войны еще и не нюхали (до гражданской остается целый год). Странно и загадочно!

А вот Григорий и Петро Мелеховы, бросив два развалившихся фронта — германский и противобольшевистский, дождались прихода красных:

«И сразу весь курень наполнился ядовито-пахучим спиртовым духом солдатчины, неделимым запахом людского пота, табака, дешевого мыла, ружейного масла, — запахом дальних путин» (ч. 6, гл. 16).

Тут бы Петру и Григорию самое время вспомнить этот запах, а нет... Разобраться в ощущениях героев нам помогает другой фрагмент, описывающий вернувшегося из плена Степана Астахова, мужа Аксиньи:

«Наутро — Степан еще спал в горнице — пришел Пантелей Прокофьевич. Он басисто покашливал в горсть, ждал, пока проснется служивый. Из горницы тянуло рыхлой прохладой земляного пола, незнакомым удушливо-крепким табаком и запахом дальней путины, каким надолго пропитывается дорожный человек» (ч. 6, гл. 7).

Займемся сравнительной одорологией — сопоставим характеристики запахов:

ч. 4, гл. 6
дух солдатчины
едкий
ч. 6, гл. 16
дух солдатчины
ядовито-пахучий спиртовой
запах людского пота
табака
дешевого мыла
ружейного масла
запах дальних путин
ч. 6, гл. 7
удушливо-крепкий табак
запах дальней путины.

За пределами сопоставления остались две невещественных характеристики: «незабываемость» в части 4-й и замечание о том, что «запахом дальней путины (...) надолго пропитывается дорожный человек» в 6-й части; при этом сам «запах дальних путин» является неотъемлемой принадлежностью «духа солдатчины» (гл. 16 часть 6-я).

Разгадка «незабываемого» духа здесь и лежит: это тот запах, «каким надолго пропитывается» солдат. И, значит, запах этот не «незабываемый», а неотвязный, неистребимый, неустрашимый, неизбывный, не и з б ы в а е м ы й!

Именно слово «неизбываемый» и не сумел прочесть в рукописи дура Шолохов:

«Митька пробыл дома пять дней. (...) Как-то перед вечером заглянул и к Мелеховым. Принес с собой в жарко натопленную кухню запах мороза и неизбываемый едкий дух солдатчины».

Да не упрекнул нас в крохоборстве: речь не идет об впечатлениях или ошибках чтения, речь вообще не идет об одном слове. Дело в принципе — принципе Авторской поэтики. А поэтика эта в значительной степени построена на столкновениях, на конфликтах, на неуживающихся друг с другом качествах. Этот единый принцип организует описания людей, животных, растений и запахов. Как, например, в данном случае:

жарко натопленная кухня — запах мороза;

Запах мороза Митька принес с улицы, запах солдатчины он носит с собой зимой, летом, всегда. Свежесть мороза обманчива, затхлость есть сущность — «дух».

ПО ПОВОДУ МОКРОГО СНЕГА

Эпопея корниловской армии, отступившей, чтобы сражаться и победить, уже современниками рассматривалась как великое деяние. И хотя гражданская война дала в дальнейшем новые примеры «ледяных походов» (отступление колчаковской Якутской армии, гибельный «отступ» в Персию Уральской казачьей армии), история запомнила первый — Корниловский. Трагедия армии, уходящей на верную смерть,

слишком эпична, чтобы мимо нее мог пройти хотя бы один, писавший о войне на Юге. Не прошел и автор «Тихого Дона», поместив в эту заведомо неказачью массу единственного из первостепенных персонажей, социально близкого отступавшим, — сотника Евгения Листницкого.

Итак, начало «Ледяного похода» — книга II, часть 5-я, глава 18-я;

«Накапливались сумерки. Морозило».

Все, как будто, верно: поход — «ледяной», значит, уместен и мороз. Но вслед за этим — продолжение:

«От устья Дона солончатый и влажный подпирал ветер».

«Влажный ветер» ни при какой погоде не может «морозить», а если «морозит» не ветер, то сам ветер не может оставаться влажным.

Дальше — больше:

«— Господин командир! — окликнул Неженцева подполковник Ловичев, ловко перехватывая винтовку. (...) Прикажете первой роте прибавить шаг! Ведь так и замерзнуть немудрено. Мы промочили ноги, а такой шаг на походе...»

«На взрыхленной множественно ног дороге кое-где просачивались лужи. Идти было тяжело, сырость проникла в сапоги».

«— Россия всходит на Голгофу... Кашляя и с хрипом отхаркивая мокроту, кто-то пробовал иронизировать: — Голгофа... с той лишь разницей, что вместо кремнистого пути — снег, притом мокрый, плюс чертовский холодец».

Значит, все-таки холодно. Но холод — он бывает разный: бывает мороз, а бывает и пронизывающая сырость. Замерзнуть можно и тогда, когда кругом слякоть и лужи. Но если подморозит — луж нет, они затягиваются льдом. А мы что видим: «кое-где просачивались лужи», то есть типичная оттепель, да и ветер влажный. На морозе ноги мерзнут, но не промокают; при морозе снег бывает всякий: легкий, тяжелый, пушистый, хрустящий, но только не мокрый. А в тексте прямо сказано: «снег, притом **мокрый!**» В чем причина такой противостественности описания?

За ответом обратимся к тексту первых изданий романа, но не к процитированному отрывку, а к другим «метеорологическим» фрагментам:

«Моросил изморозный дождь, фонари кидали на лужу мерклые дорожки света» (ч. 3, гл. 22);
«В этот день изморозный дождь сеялся с полдня» (ч. 5, гл. 2);
«Ветер клубил за перелеском морозную пыль» (ч. 4, гл. 21).

В первых двух случаях ситуация понятна — речь идет о морозящем дожде, и, следовательно, читать надо не «изморозный дождь», но «изморозный дождь». С третьим случаем положение иное, поскольку «морозной пыли» предшествует сообщение, что Мишка Кошевой и Алексей Бешняк «таились в ярке возле покинутого обвалившегося колодца, вдыхая разреженный морозом воздух».

Становится ясно, что в первых изданиях «Тихого Дона» и «изморозный» в значении «изморозный», и «морозный» в значении «морозный» одинаковым образом писались через «З».

Такая орфография противоречила правилам, достаточно сослаться на написание в «Толковом словаре» Вл. Даля. Тем не менее, «изморось» через «З» — не выдумка Шолохова.

Андрей Белый, роман «Серебряный голубь», Москва, издательство «Скорпион», 1910 год:

«(...) изморозь дышала на него своей пылью: вокруг изморозь крутилась — все пространство (...) казалась, плясало в слезливом ветре (...) А окрест — мразь да грязь: плясал дождик, на лужах лопались пузыри (...)» (с. 73—74);
«А изморозь хлестала — пуще да пуще (...)» (с. 81).

Сергей Есенин — 1924 год:

«Я усталым таким еще не был...
В эту серию морозь и слизь...»

Итак, написание через «З» — установленный факт. Но А. Белый позволяет нам заглянуть еще дальше, в корни орфографической, пусть и распространенной, но ошибки:

«А окрест — мразь да грязь: плясал дождик, на лужах лопались пузыри (...)» (с. 81).

«(...) бешенней дождливая заметалась мразь (...)» (с. 77).

Логично предположить, что основание ошибки — псевдоисторическое, а именно, построение ложного уравнения:

Мразь — мороз — изморозь

Мразь — морозь — изморозь

Затруднений с чтением «изморозь», как и *изморось*, естественно, не возникало — на конце слова любой звонкий согласный оглушается. Затем вступали в действие навыки исторической орфографии: *мóрозь* — морозить вполне соответствовало паре *морóз* — *морóзит*.

Истина, однако, в том, что церковно-славянского МРАЗЬ не существует. «Мразь» — слово сугубо русское, диалектное (костромское, тверское, ярославское), и значит вовсе не «мелкий дождь, ситничек», а «мерзость».

Переводя «Тихий Дон» на новую орфографию, Шолохов хорошо справился со словом «морозил», потому что рядом стоял «изморозный дождь». Еще проще было, когда глагол вовсе отсутствовал: «изморозный дождь» — не «град», понятное дело, а «изморозный дождь». А вот с «Ледяным походом» затычка вышла...

А вы сами попробуйте чужой роман без ошибок переписать, чтобы получилось, как у Автора:

«Накапливались сумерки. Моросило. От устья Дона солоноватый и влажный подпирал ветер».

ТАИНСТВЕННЫЙ СПУТНИК

Среди множества вымышленных персонажей (начиная с главных героев) в романе действуют и исторические лица: Каледин, Корнилов, Краснов, Алексеев, Подтелков, Лукомский... В двух эпизодах появляется император Николай II: в первом он вручает георгиевскую медаль Кузьме Крючкову; во втором — последний раз в жизни покидает здание Ставки в Могилеве. Свидетелем этого последнего события становится Евгений Листницкий:

«Бледная, с глубочайшей волнующей яркостью воскресил он в памяти февральский богатый красками исход дня, губернаторский дом в Могилеве, чугунную запотевшую от мороза огороду и снег по ту сторону ее, испещренный червонными бликами низкого, покрытого морозно-дымчатым флером солнца. За покатым свалом Днепра небо краснело лазурью, киноварью, ржавой позолотой, каждый штрих на горизонте так неосяземо воздушен, что больно касаться взглядом. У выезда небольшая толпа из чинов ставки, военных, штатских... Выезжающий крытый автомобиль. За стеклом, кажется, Фредерик и царь, откинувшийся на спинку сиденья. Обуглившееся лицо его с каким-то фиолетовым оттенком. По бледному

лбу косою черной полукруг папахи, формы казачьей конвойной стражи.

Листницкий почти бежал мимо изумленно оглядывавшихся на него людей. В глазах его падала от края черной папахы царская рука, отдававшая честь, в ушах звенел бесшумный холостой ход отъезжающей машины и унизительное безмолвие толпы, молчанием провозвавшей последнего императора» (ч. 4, гл. 10).

В этом фрагменте сразу бросаются в глаза пушкинские реминисценции: «унизительное безмолвие толпы» имеет своей причиной «Бориса Годунова» — «Народ безмолвствует», а сцена бега Листницкого, со звоном молчания в ушах и видением императорской руки, отсылает к «Медному Всаднику» —

И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье...
Но бедный, бедный мой Евгений...
Увы! его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятельный шум
Невы и ветров раздался
В его ушах...
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне...

Заметим, что, в отличие от поднятой руки Петра I, рука Николая II падает. Отметим и еще один момент многозначительного сходства: Листницкого зовут Евгений! Это то, что касается литературной истории*.

* Этим, конечно, не исчерпывается литературоведческий анализ. Так, например, необходимо отметить и используемый здесь прием оксюморона: «Бледная...» — «с глубочайшей ... яркостью... воскресил в памяти» (столкновение цветовых характеристик, однаково приложимых к описанию человеческого лица и качества воспоминаний); «...штрих... так неосяземо воздушен, что больно касаться взглядом...»; «...холостой ход отъезжающей машины» (столкновение неподвижности («холостой ход») и движения («отъезжающая машина»), ср. выражение — «машина на холостом ходу»); при этом звук, издаваемый машиной, назван «бесшумным», но сам этот «бесшумный ход» *звенит* в ушах. Прием оксюморона позволяет опознать еще одну реминисцентную линию: «унизительное безмолвие толпы» — это безмолвие восставших; таким образом, безмолвие толпы соотносимо не только с «Борисом Годуновым», но и с *мятежных шлюх* «Медного Всадника». Продолжая анализ, мы отмечаем и то, что «небо краснело лазурью, киноварью и ржавой позолотой». Понятно, что в основе такого цветового ряда лежит не непосредственное восприятие, а иконопись. С учетом этого получает новый смысл и портрет императора: «По бледному лбу косою черной полукруг папахы» — перед нами лик Спасителя со смертным венчиком вокруг чела.

Что же касается истории, то и эта сторона не вызывает нареканий: Ставка русского Верховного Главнокомандования находилась в Могилеве; неделю, следующую за отречением, Николай действительно провел в Ставке (прибыл в Могилев вечером 3 марта и отбыл навсегда 8 марта 1917 года); среди сопровождавших императора лиц находился отец обер-гофмейстерины Нарышкиной, министр двора и уделов, канцлер Империи граф Владимир Борисович Фредерикс, прозванный при дворе «Щелкунчиком» (Nussknacker) и переживший своего императора на 9 лет. Правда, вскоре после прибытия в Могилев Фредерикс исчез и был обнаружен (и арестован) лишь спустя несколько дней в Гомеле. Тем не менее в Ставке он был. Это факт.

Вообще Фредерикс в качестве спутника царя личность известная, а после «Заговора императрицы» П. Е. Щеголева—А. Н. Толстого даже популярная. Например, его видел во сне Остап Бендер: «Государь-император, а рядом с ним, помнится, еще граф Фредерикс стоял, такой, знаете, министр двора» («Золотой теленок», ч. 1, гл. 8).

Но все-таки одно недоумение остается — дело в том, что в первой (журнальной) публикации «Ихого Дона» императора сопровождал не Фредерикс, а Дитерихс.

Опечатку видеть здесь вряд ли возможно. Во-первых, и наборщики, и машинистки практически всегда заменяют незнакомое слово более известным, а Фредерикс, несомненно, был более известен. Во-вторых, невозможно представить себе такое написание фамилии Фредерикс, чтобы ее можно было спутать с «Дитерихс»: строго говоря, совпадает в этих двух фамилиях лишь последовательность трех букв — «-е-и-». Поэтому, в имени «Дитерихс» следует видеть ошибку Авторского текста. Именно ошибку, поскольку никакого Дитерихса в феврале-марте 1917 года в Ставке не было.

А был ли сам Дитерихс?

В советской литературе существует еще одно произведение, в котором упоминается этот загадочный человек — роман Дмитрия Нагишкина «Сердце Бонивура». В романе описываются трудные дни

1922 года на Дальнем Востоке и, в частности, последний правитель Белого Приморья. Нагишкин его по имени-отчеству так до конца романа и не называет, но сообщает о нем следующее (в главе 12-й «Рождение диктатора»):

«Генерал Дитерихс, бывший в том возрасте, который из вежливости называют преклонным, в революции потерял все».

Надо полагать, видимо, что речь идет о сенильном старце, тем более, на следующей же странице Нагишкин прямо пишет: «выживший из ума старый Дитерихс...».

Сколь же велико будет наше удивление, когда Гэй Ричардс в своей книге «Охота на царя» при имени Дитерихс сочтет нужным добавить: «в период 1-й мировой войны он одно время был самым молодым генералом русской армии...»* Действительно, ну и генералы были — выживший из ума старик — самый молодой! Ничего нельзя понять...

Кто же он был на самом деле, этот молодой старик?

Генерал Михаил Константинович Дитерихс родился в 1874 году, так что Нагишкин мог позволить себе не бравировать чрезмерной вежливостью — в 1922 году генералу Дитерихсу не было и 50. Был он молод и в годы первой мировой — к началу войны ему исполнилось 40. А. А. Брусиллов, приняв командование Юго-Западным фронтом, характеризует его как генерала «очень способного и отлично знающего свое дело». Был он заметной фигурой и в гражданскую войну: в 1918 принимает участие в чехословацком выступлении во Владивостоке, затем получает назначение начальником штаба ген. Я. Сырового; после ухода генерала Р. Гайды назначается командующим Сибирской армией, а затем, после отставки Лебедева, становится главнокомандующим фронтом и начальником штаба Верховного Правителя. Впрочем, вскоре на Дитерихса возлагают ответственность за неудачи на фронте, отрешают от должности и назначают на его место ген. Н. П. Сахарова. Дитерихс-

* Richards G., The Hunt for the Gzar, NY, A Dell Book, 1971.

су же поручают возглавить следственную комиссию по делу об убийстве царской семьи. Вместе с комиссией он отступает из Сибири, добирается до Харбина, оттуда едет во Владивосток, где публикует двухтомное собрание материалов «Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале» (Владивосток, типография Военной академии, 1922). Во Владивостоке же он избирается (после падения правительства братьев Меркуловых — так называемого «черного буфера») единоличным Правителем Приморья и Воеводой Земской Раги. Он объявляет «крестовый поход» на Москву за восстановление на престоле «законного хозяина Земли Русской, помазаника Божия из Дома Романовых», но 25 октября 1922 года на борту японского миноносца покидает Владивосток. Из Японии он направляется в Китай, где становится во главе Восточного отделения Русского Обще-Воинского Союза (РОВС). В 1937 году генерал Дитерихс скончался*.

Обратимся, однако, к интересующим нас временам, к 1917 году. Так вот, ни в феврале, ни в марте Дитерихса в Могилеве не было, не было его и в России вообще, поскольку в это время он командовал дивизией, отправленной на помощь союзникам и сражавшейся на Салоникском фронте. В Россию же М. К. Дитерихс вернулся лишь в июне 1917 года. И вот тут-то обнаруживается самое замечательное: вернувшегося в Россию генерала Дитерихса назначают генерал-квартирмейстером Ставки в Могилеве. Должность эту он получает, видимо, по представлению А. Ф. Керенского**, после похода генерала Крымова на Петроград («Корниловский мятеж»).

Попытаемся разобраться. Весной 1917 года Дитерихса в Ставке не было. Следовательно, ни в каких исторических источниках, описывающих низвержение самодержавия, мы имени Дитерихса не найдем.

* Катков, Г. М. Дело Корнилова (пер. с англ. Н. Г. Росса). Париж,

** Брусиллов, А. А. Мои воспоминания. (Изд. 5-е) М., 1963, с. 205; Грачев, Г. Якутский поход ген. Пепеляева. — «Сибирский Архив», (Прага), Изд. Об-ва Сибиряков в ЧССР, 1929, т. 1, с. 25—26;

Перед нами несомненная ошибка, но какого рода? Это не ошибка невежды, не умеющего разобраться в разногласии архивных и мемуарных свидетельств: не могло попасть ни в архивы, ни в мемуары имя человека, не имевшего никакой связи с событиями.

Но все станет на свои места, если допустить, что перед нами ошибка человека, бывшего не очевидцем, но современником событий. Если допустить, что Автор «Тихого Дона» ознакомился с действительностью Ставки в краткий промежуток времени между отставкой Корнилова и убийством Духонина (5 сентября — 20 ноября ст. ст.), то описывая пребывание императора в Ставке и не имея возможности опереться на мемуары (еще ненаписанные!), он легко мог ошибиться, сочтя, что нынешний генерал-квартирмейстер Ставки остался от старого режима. Заслуживает внимания еще одна характерная неточность: император посетил Ставку в марте (3—8 ст. ст.), а Евгений Листницкий вспоминает «февральский богатый красками исход дня» (ссылка на разницу старого и нового стилей только усугубляет дело — 3 и 8 марта старого стиля соответствуют 16 и 21 нового).

БЛИЗНЕЦ В ТУЧАХ

В 1956 году Б. Л. Пастернак был, как и в предыдущие дни десятилетия, озабочен проблемой «первого поэта»:

«Были две знаменитые фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее, и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздумия моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ею» («Люди и положения» — в кн.: Б. Пастернак «Воздушные пути (Проза различных лет)». М., 1982, с. 458).

Слова «Я люблю свою жизнь», в свете всем известных обстоятельств смерти Маяковского, усиливают, конечно, юмористическое звучание приведенного фрагмента. Но перед этим Пастернак рассуждает более чем серьезно и вписывает гибель Маяковского в общую картину гибели литературы.

«В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, скажем проще, прекратилась литература, потому что ведь и начало «Тихого Дона» было поэзией, и начало деятельности Пильняка и Бабеля, Федина и Всеволода Иванова (...)» (Указ. соч., с. 457).

Обратим внимание на положение «Тихого Дона» в этой фразе: вокруг него имена — Маяковский, Есенин, Пильняк, Бабель, Федин, Вс. Иванов, а «Тихий Дон» стоит безымянный. С одной стороны: «начало деятельности» Пильняка, Бабеля, Федина и Вс. Иванова, а с другой — «начало «Тихого Дона», лишь романа, а не деятельности А. М. Шолохова (на возражение, что «Донские рассказы» не заслуживали высокой оценки и потому не упомянуты, можно ответить, что началом деятельности Пильняка Пастернак тоже считал не рассказы 1917 года в «Ниве», а началом Бабеля — не сотрудничество в горьковской «Летописи» 1916 года, но их книги: «Голый год» и «Конармию»).

Еще один штрих: начало романа «Тихий Дон» (книги 1-я и 2-я) вышло в 1928 году, то есть «в последние годы жизни Маяковского», как раз тогда, «когда» (...) прекратилась литература». Тем не менее Пастернак ставит начало «Тихого Дона» в один ряд с началом деятельности Пильняка, Бабеля, Федина, Вс. Иванова, то есть относит роман к самому началу 20-х, в любом случае ранее 1925 года («когда повесился Есенин»). Мало того, все перечисленные писатели относятся к одному поколению, они, практически, сверстники (1892 — Федин, 1893 — Маяковский, 1894 — Пильняк, Бабель, 1895 — Есенин, Вс. Иванов). Шолохов с его 1905 годом рождения до самых молодых недотягивает десяти лет!

Короче говоря, Пастернак отказывает «Тихому Дону» как в праве быть написанным во второй половине 20-х, так и в праве именоваться произведением Шолохова.

Основанием такого отвода служит поэтика романа, а именно, характерная для него ориентация на поэзию. К сожалению, Пастернак не счел нужным уточнить, какую именно поэзию он имел в виду.

Попытаемся ответить на этот вопрос. Откроем «начало романа» — книгу 2-ю, часть 4-ю, главу 6-ю:

«В прозрачном небе, в зените стояло малиновое недвижимое облачко, за Доном на голых ветках седоватых тополей черными горелыми хлопьями висели грачи».

Нужно приложить большие усилия, чтобы не вспомнить:

Где, как обугленные груши.
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Это — «Февраль. Достать чернил и плакаты!..». Первые стихи были опубликованы в сборнике «Лирика» (М., 1913, с. 42) с посвящением Константину Локсу, а затем вошли в книгу «Близнец в тучах» (М., Книгоиздательство «Лирика», 1914). Примечательно, что в первой публикации строфа несколько разнилась от приведенной выше:

Где, как обугленные груши,
На ветках тысячи грачей...

Ср.: «за Доном на голых ветках седоватых тополей черными горелыми хлопьями висели грачи».

Стихи Пастернака, помещенные в сборнике «Лирика», возможно проливают свет и на «седоватые тополя»:

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу.

Эти стихи — «Как бронзовой золой жаровень...» — отделены от «февраля...» всего двумя страницами (сб. «Лирика», с. 45).

Мы никогда не узнаем, вспомнил ли Пастернак свои ранние стихи, читая «Тихий Дон». Гораздо важнее другое — Пастернак узнал в авторе «Тихого Дона» своего сверстника: писателя 10-х годов.

(Окончание следует)

Маргарита ПАВЛОВА

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» З. Н. ГИППИУС

«Моя книга не для любителей сенсаций. Она для внимательного и не ленивого взора тех, кто хочет знать, как переживал сознательный — культурный и политический — слой русского общества великие потрясения своей страны», — писала в 1918 г. в предисловии к своему «Петербургскому дневнику» Зинаида Николаевна Гиппиус¹. Уже в те годы (1917—1919), вовсе не будучи уверенной в том, что ее «Современная запись» (так она называла дневник) будет когда-нибудь прочтена современниками, Гиппиус подготавливала книгу к печати — переписывала от руки, редактировала, вновь переписывала и перепечатывала. Она была убеждена, «что на каждом знающем, кто бы он ни был, лежит этот долг» — «приподнять хоть край завесы» над действительностью, посильно сказать миру правду о России². К середине 1919 г. в самой России все газеты, кроме большевистских, были запрещены — «красная стена» наглухо закрыла для несмирившихся пути к свободному слову. Если в конце 1917 г. у Мережковских был фактически собственный печатный орган — газета «Вечерний звон»³, в 1918 г. они еще могли помещать свою публицистику в «Новых ведомостях» или в «Речи» («Наш век») и пр., то в 1919 г. их острым политическим выступлениям или стихам не было места на страницах прессы, «официоза», как ее

называла Гиппиус. «Так что же, молчать? — возмущенно писала она в статье «Красная стена». — Сидеть под подушками, вернее — под досками лежать, на которых сидят пирующие татары, и ждать? Нет, нет! Уже потому нет, что молчать мы все равно не можем. Когда режут — человек кричит, хотя бы это было бесцельно. Нас режут, и мы кричим, и будем кричать»⁴.

Однако для того, чтобы «сказать» или «крикнуть», надо было выжить и стать свободным, что означало для Мережковских — покинуть родину. «Это не было желание уехать от чего-то (от тьмы, холода, голода и т. д., — признавалась впоследствии Гиппиус. — «От» было между прочим; главное же — к чему ехать, куда и для чего».

Тема «отъезда» стала мучительной для всех троих (с 1906 до 1920 г. они жили вместе — Мережковские и Философов). По воспоминаниям их слуги Ивана, Дмитрий Сергеевич долго колебался, не хотел примириться с мыслью о неотвратимости «бегства», к которому его искренно склоняла энергичная и целевая Гиппиус, также, «любоко переживавшая предстоявший им путь. «Я знаю, уехать — это превратиться... не в эмигрантов даже, а в беженцев, — записала она в своей «Черной тетради» 22 октября 1918 г. — Без денег (не позволяя), без одежды (не пропускают), без рукописей и работ, голыми, бросив на разгромление нашу ценнейшую библиотеку и, главное, архивы, — ехать неизвестно куда, не зная, когда можно и можно ли вернуться, — вот судьба русского

¹ Гиппиус З. Н. Предупреждение. — ОР ГПБ. Ф. 481. Ед. хр. 1. Л. 1.

² Гиппиус-Мережковская З. Н. Дмитрий Мережковский. — Париж, 1951, с. 245.

³ «Вечерний звон» издавался в дек. 1917 г. (до 5 янв. 1918 г.). Одним из редакторов газеты был Д. В. Философов.

⁴ Гиппиус З. Красная стена. — ОРГПБ. Ф. 481. Ед. хр. 30. Л. 5.

писателя, имеющего почти славу (как Дмитрий), некоторую известность (как я и затем Дима) и за спиной 30 лет работы, томы изданных книг. Но жить здесь больше нельзя: душа умирает»¹.

Через год, 24 декабря 1919 г., под предлогом командировки для чтения лекций, Мережковские, В. А. Злобин (их секретарь с 1916 г.) и Д. В. Философов оставили Петроград. «На обложке начатых работ, рукописей Дмитрия Сергеевича о Египте, — вспоминала Гиппиус, — было большими буквами написано: «Материалы для лекций в красноармейских частях»². Жлобин — Бобруйск — Минск — Варшава — Париж — таков был их маршрут, растянувшийся на несколько месяцев. Ввиду опасности «путешествия» они взяли с собой только самое необходимое. Среди покинутых в Петрограде вещей, книги, бумага и рукописей был и общественно-политический дневник З. Н. Гиппиус, который она вела с августа 1914 г. вплоть до отъезда из России. «Черная книжка» (июнь — 4 ноября 1919 г.), а также «Серый блокнот» с ноябрьскими и декабрьскими записями — все, что тогда удалось спасти из текстов дневника.

В конце лета 1920 г. Мережковские приехали в Париж. В сравнении с многими русскими, оставившими родину, они находились в счастливом положении: собственными ключами они открыли двери своей парижской квартиры — той самой, в которой поселились весной 1906 г.; дом на rue Théophile Gautier, таким образом, связал две значительные эпохи в их жизни. Весной 1906 г., потрясенные событиями революции, они уехали из России с целью бороться с самодержавием, подготавливая религиозную революцию.

Именно в годы первой парижской эмиграции Мережковские сближаются с эсерами (Б. В. Савиновым, И. И. Фондаминским и др.), налаживают связи с французскими политическими деятелями, близкими социалистической ориентации, издают антимонархический и анти-

церковный сборник «Le Tsar et a Revolution» (1907)¹. Кстати, знаменитая фраза Гиппиус «Мы не в изгнании, мы в послании», ставшая впоследствии девизом политической эмиграции, родилась еще в годы их первого парижского периода.

Можно догадаться, с чувством какой горечи возвращались они во Францию в 1920 г. ... Однако они не спешили забыть страшные для них годы «кровавого бреда», их «последние дни» в России. «Если мне удастся приподнять хоть край завесы над нашей действительностью, — писала Гиппиус еще в 1918 г., — я сочту себя удовлетворенной»². В 1921 г. ее дневник стал известен европейским читателям: часть «Современной записи», вывезенная из Петрограда, была опубликована в Софии, в журнале «Русская мысль», издававшемся П. Б. Струве, и в Мюнхене, в составе сборника Д. С. Мережковского «Царство Антихриста»³. В 1927 г. другом В. А. Злобина (вероятно, М. Л. Слонимским) в Париж была доставлена «Синяя книжка» — общественно-политический дневник З. Гиппиус за 1914—1917 гг. В 1929 г. он был издан в Белграде Александром Беличем⁴. Таким образом, большая часть текстов «Петербургского дневника» стала известна в Европе еще при жизни его автора.

Новое издание дневника З. Гиппиус увидело свет через пятнадцать с лишним лет⁵. Подготавливая его к печати, Н. Н. Берберова писала, что книга эта относится к числу тех, которые не забывают, к которым суждено непрестанно возвращаться, потому что «она принадлежит к числу исключительных документов исключительной эпохи России (1914—1920) и бросает

¹ Подробно об этом периоде рассказано в публикации В. Аллоя. — Минувшее (Париж), № 9, 1990, с. 295—322.

² См.: Гиппиус З. Н. Предупреждение. — ОР ГПБ. Ф. 481. Ед. хр. 1. Л. 1.

³ См.: Русская мысль, 1921, № 1 (с. 139—190); Мережковский Д. С. Царство Антихриста. — Мюнхен, 1921.

⁴ См.: Зинаида Гиппиус. Синяя книжка. Петербургский дневник 1914—1917. — Белград, Раденкович, 1929. А. А. Белич (1876—1960) — сербский славист, президент сербской Академии наук (1947).

⁵ Зинаида Гиппиус. Петербургский дневник (1914—1919). — Нью-Йорк, 1982.

¹ Гиппиус З. Красная стена — ОР ГПБ. Ф. 481. Ед. хр. 4. Л. 165.

² Гиппиус-Мережковская З. Н. Дмитрий Мережковский, Париж, 1951, с. 246.

яркий (и безжалостный) свет на события, потрясшие мир в свое время»¹.

«Черная книжка» и «Серый блокнот», публикуемые ниже, — лишь небольшая часть «Петербургского дневника» З. Гиппиус. Они включают записи, сделанные в последние месяцы ее пребывания в Петрограде. Это обстоятельство наложило на документы особый, глубоко мрачный эмоциональный тон, еще более усилило ощущение «конца», характерное для текстов дневника в целом. По содержанию «Черная книжка» и «Серый блокнот» продолжают «Современную записку». Гиппиус рассказывает в них и о наступлении войск Юденича и Деникина, и о движении красноармейских частей, она цитирует Троцкого, пересказывает Зиновьева, сообщает о создании в Петрограде Дома искусств и об обстоятельствах работы издательства «Всемирная литература», она передает уличные сплетни и слухи (целенаправленно — колорит времени!), наконец, описывает сцены из жизни «агонизирующего Петербурга», подчас с натуралистическими подробностями.

В то же время тексты «Черной книжки» и «Серого блокнота» заметно отличаются от записей «Синей книги» (1914—1917) и «Черных тетрадей» (1917—1919)². Прежде всего поражает в них редкое присутствие дат — в ранних текстах над каждой записью обозначено число и день недели, а иногда даже время суток: вечер, день, поздно ночью, утро. «Серый блокнот» открывается пометой: «Октябрь... Ноябрь... Декабрь...» Возможно, Гиппиус своим повествованием стремилась вызвать у предпологаемого собеседника иллюзию полусознательного бормотания замученного человека («Мы лежим и бормочем, как мертвецы у Достоевского, бессмысленный «бобок... бобок...»³. Однако в отсутствии дат вряд ли

кроется только литературный прием. События 1917—1919 гг. З. Гиппиус воспринимала с точки зрения «конца времен», «исполнения сроков». Эсхатологизм — основа ее мироощущения тех лет. Когда А. Блок (при встрече с ней в трамвае в 1918 г.) спросил ее: «Как вы поживаете?» — она ответила: «Что же, ждем смерти. Вот в вашем положении не умирают, а мы...»⁴. Для Мережковских годы революции протекали под знаком «физического убийства духа, всякой личности», под знаком «обвала всей культуры» — выхода из исторического времени.

Тем не менее историк, вчитываясь в текст «Петербургского дневника», вероятно, без особого труда сможет восстановить историческое время, разделить датами записи, слитые в единое «бормотание», — для этого достаточно пролистать «Петроградскую правду», «Известия ВЦИК», «Правду», декреты и постановления Советской власти. В некоторых случаях газетные статьи и заметки служат также превосходным комментарием к высказываниям Гиппиус, неправдоподобным на первый взгляд, подчас гротескным. Например, 16 июля 1919 г. она писала: «Утром из окна: едет воз гробов. Белые, новые, блестят на солнце. Воз обвязан веревками. В гробах — покойники, кому удалось похорониться. Это не всякому удаётся. Запаха не слышала, хотя окно было открыто. А на Загородном — пишет «Правда» — сильно пахнут, когда едут»⁵. Через два дня, 18 июля, в «Петроградской правде» было помещено письмо под заголовком «Возы и покойники», автор сообщала следующее: «Пищущему эти строки неоднократно приходилось, проходя по Загородному проспекту, встречать по несколько возов с покойниками, вывозимых, по-видимому, из Обуховской больницы. Каждый раз такая встреча вызывает неприятное ощущение, особенно если к

¹ Берберова Н. Н. Предисловие // Зинаида Гиппиус. Петербургские дневники. — 2-е изд. — Нью-Йорк, 1990. — С. 14.

² «Черные тетради» (1917—1919), которые З. Гиппиус считала безвозвратно утраченными, сохранились в составе архива Мережковских (ОР ГПБ. Ф. 481).

³ Зинаида Гиппиус. Петербургские дневники. — 2-е изд. — С. 299.

⁴ Каблуков С. П. Дневник 1919 года. Часть 1-я. Запись от 24 апреля (ОР ГПБ. Ф. 322. Ед. хр. 63. Л. 105—106). Сергей Платонович Каблуков записал рассказ Гиппиус после ее визита к нему.

⁵ Амосов Ф. Возы с покойниками. — Петроградская правда, 1919, 18 июня, № 159, с. 2.

этому прибавить то зловоние, которое распространяют эти трупы.

16, а зат... и 17 июля мне опять пришлось повстречаться с этими печальными колесницами. Это было что-то ужасное: на расстоянии 20—30 шагов от этих телег абсолютно не было возможности дышать. Все проходившие зажимали себе носы платками».

«Историческое время» «исключительной эпохи» отпечаталось на каждой странице дневника З. Гиппиус. Характерная черта «Черной книжки» и «Серого блокнота» — обилие криптонимов (тоже знак времени): их гораздо больше, чем в первых частях дневника; нередко криптонимы появляются на месте имен, уже неоднократно названных в ранних текстах. Как правило, Гиппиус зашифровывала имена людей, находившихся в оппозиции к советской власти, или имена ее близких знакомых. В условиях каждодневных обысков и расстрелов тайнопись была оправданна.

На фоне скрытых имен особенно резко звучат имена Троцкого, Зиновьева, Луначарского, Горького, Гржебина, Блока. В апреле 1921 г. А. Блок, прочитавший «Черную книжку» в присланном ему журнале «Русская мысль», отметил в дневнике: «Это очень интересно, блестяще, большей частью, я думаю, правдиво, но — своекорыстно. Она (она) слишком утяжелена личным, тут нет широких, обобщающих точек зрения... У Зинаиды Николаевны много скверных анекдотов о Горьком, Гржебине и др.»¹. «Анекдоты» рождались из незнания, из «податливости на каждый непроверенный слух»², но не только по этим причинам. Гиппиус, например, много пишет о том, как

Горький скупал у спекулянтов музейные ценности. Трудно поверить, однако, что она не знала о его работе в Экспертной (оценочно-антикварной) комиссии по собиранию раритетов для музеев. Скорее всего она предпочитала не знать об этом.

«Утяжеленность личным», пристрастность, о которых писал Блок, были соприсущи Гиппиус. В «Черной книжке» и «Сером блокноте» эти черты ее личности обнажены до предела, особенно в эпизодах, касающихся тех, с кем примириться она не могла (Горький и др.).

По прошествии многих лет, перечитывая собственные записи событий революции и гражданской войны, свои оценки поведения людей в этих событиях, З. Гиппиус писала: «... В данном, частном, случае — для меня Дневник мой не всегда приятное зеркало: приходится ведь отвечать не за одну главную внутреннюю линию (за нее я без труда отвечаю), но также и за ребяческие наивности, скорые суждения, «самодельные» политические рассуждения и т. д.»¹. Несомненно, это позднее признание З. Гиппиус не отменяет для нас ценности «Современной записи» как исторического документа, скорее напротив: в заблуждениях автора дневника, в его «утяжеленности личным», «своекорыстии» еще более проясняется и тип ее личности (не знающей компромиссов), и колорит эпохи, и «само течение жизни»² с ее фантастической правдой, которую З. Гиппиус стремилась донести до современников. «А частица правды в Дневнике моем есть, — говорила она в 1927 г. — о ней только я и думаю, и верю: кому-нибудь она нужна»³.

¹ Блок А. Дневники. — М., 1989, с. 344.

² Берберова Н. Н. Предисловие. — В указ. томе, с. 16.

¹ Зинаида Гиппиус. Петербургские дневники. 1914—1919. — 2-е изд. — С. 20.

² Там же, с. 21.

³ Там же, с. 24.

ИСТОРИЯ МОЕГО ДНЕВНИКА

«Черная книжка» — лишь сотая часть моего «Петербургского Дневника», моей записи, которую я вела почти непрерывно, со дня объявления войны. Я скажу далее, какая судьба постигла две толстые книги этой записи, доведенной до февраля-марта 1919 года. Сейчас отмечаю лишь то обстоятельство, что их у меня нет. И я должна сказать о них несколько слов прежде, чем дать текст записи последней, касающейся второй половины 1919 года. Правда, этот последний дневник написан несколько иначе, отрывочнее, короткими отметками, иногда без чисел. Но все-таки он — продолжение, и без фактических ссылок на первые тетради он будет непонятен даже внешне.

Наша жизнь, наша среда, моя и Мережковского, и наше положение, в общем, были благоприятны для ведения подобных записей. Коренные жители Петербурга, мы принадлежали к тому широкому кругу русской «интеллигенции», которую, справедливо или нет, называли «совестью и разумом» России. Она же — и это уже конечно справедливо — была единственным «словом» и «голосом» России, немой, притайномолчашей — самодержавной. После неудавшейся революции 1905 года — неудавшейся потому, что самодержавие осталось, — интеллигенция если не усилилась, то расширилась. Раздираемая внутренними несогласиями, она, однако, была объединена общим политическим, очень важным отрицанием: отрицанием самодержавного режима. Русская интеллигенция — это класс, или круг, или слой (все слова не точны), которого не знает буржуазно-демократическая Европа, как не знала она самодержавия. Слой, по сравнению со всей толщей громадной России, очень тонкий; но лишь в нем совершалась кое-какая культурная работа. И он сыграл свою, очень

серьезную историческую роль. Я не буду ее определять, я не сужу сейчас русскую интеллигенцию, я просто о ней рассказываю.

Разделения на профессиональные круги в Петербурге почти не было. Деятели самых различных поприщ — ученые, адвокаты, врачи, литераторы, поэты, — все они так или иначе оказывались причастными к политике. Политика — условия самодержавного режима — была нашим первым жизненным интересом, ибо каждый русский культурный человек, с какой бы стороны он ни подходил к жизни, — и хотел того или не хотел, — непременно сталкивался с политическим вопросом.

Когда после 1905 года появился призрак общегосударственной работы, — создалась Дума, — и родились так называемые «политические деятели», — эта специализация ничего, в сущности, не изменила. Только усилилась партийность; но самый видный «политический деятель» оставался тем же интеллигентом, в том же кругу, а колесо его чисто государственной, политической деятельности вертелось в пустоте. Прибавился только некоторый самообман, — а он был даже вреден.

Не всякий интеллигент, конечно, принадлежал фактически к той или другой партии; но все в них разбиралось, и почти каждый сочувствовал какой-нибудь одной более, чем остальным. Междупартийная борьба не прекращалась; но так как при данных условиях она принимала довольно отвлеченные формы и так как все партии сходились на ненависти к самодержавию, то русские круги интеллигенции, даже не центральные, были в постоянном соприкосновении.

Мы, т. е. я, Мережковский и Философов¹, а также некоторые друзья наши, склонялись, как писатели, к идейным сторонникам обществен-

ного вопроса. Не входя ни в одну из политических партий, мы, однако, имели касание почти ко всем. В той, которой мы наиболее сочувствовали, у нас было много давних друзей. Задолго до войны мы сблизились с некоторыми эмигрантами (между прочим, с Савинковым)², с которыми мы поддерживали постоянные сношения. Это была партия социалистов-революционеров. Несмотря на плохо разработанную идеологию, партия эта казалась нам наиболее органической, наиболее отвечающей русским условиям. За соц. революционерами, как народниками, стояло уже свое историческое прошлое. Что касается партии социал-демократической, — партии сравнительно новой в России, лишь после 1905 года оформившейся у нас по западным образцам и уже расколотой на большевиков и меньшевиков, то самая основа ее — экономический материализм, — была нам, и некоторой части русской интеллигенции, особенно чужда (как и самому русскому народу, — казалось нам). Все десять лет мы вели с ней последовательную, очень внутреннюю идейную борьбу.

Призрак конституции, Дума послужила созданию партии «умеренных», либеральных, стремящихся к государственной работе в легальных рамках. Как уже было упомянуто, эта работа в конечном счете тоже оказывалась призрачной. Партия конституционно-демократическая (ка-детская), единственно значительная либеральная русская партия, в сущности не имела под собой никакой почвы. Она держалась европейских методов в условиях, ничего общего с европейскими не имеющих. Но, конечно, если в области политики работа либералов и была бесплодна, то в области культуры они кое-что сделали — или делали, по крайней мере. Этим объясняется то, что либералы, в предвоенные годы, постепенно завоевывали себе все больше и больше сочувствующих среди интеллигенции.

Мы близко соприкасались с либералами, благодаря тому, что Философов, не входя в партию ка-де, работал в партийной газете «Речь» и позиция его имела много общего с позицией либеральной.

Таким образом, вся скучная политическая жизнь России, сконцентрированная в русской интеллигенции, в нелегальных и легальных партиях, около вырождающегося правительства и около призрачного парламента, — около *Думы*, — вся эта жизнь лежала перед нашими глазами. Не надо русскому писателю быть профессиональным политиком, чтобы понимать, что происходит. Довольно иметь открытые глаза. У нас были только открытые глаза. И мой дневник, естественно, сделался записью общественно-политической.

Здесь кстати сказать, что даже внешнее, географическое, наше положение оказалось очень благоприятным для моей записи³. Важен Петербург, как общий центр событий. Но в самом Петербурге еще был частный центр: революция с самого начала сосредоточилась около *Думы*, т. е. около Таврического дворца. Прямые улицы, ведущие к нему, были во дни февралю и марта 17 года словно артериями, по которым бежала живая кровь к сердцу — к широкому дворцу екатеринских времен. Он задумчиво и гордо круглил свой купол за сетью обнаженных берез старинного парка.

Мы следили за событиями по минутам, — мы жили у самой решетки парка в бельэтаже последнего дома одной из улиц, ведущих ко дворцу. Все шесть лет, — шесть веков, — я смотрела из окна, или с балкона, то налево, то направо, как опушаются и обнажаются деревья Таврического сада. Я следила, как умирал старый дворец, на краткое время воскресший для новой жизни, — я видела, как умирал город... Да, целый город, Петербург, созданный Петром и воспетый Пушкиным, милый, строгий, и страшный город — он умирал... Последняя запись моя — это уже скорбная запись агонии.

Но я забегая вперед. Я лишь хочу сказать, что и это внешнее обстоятельство, случайное наше положение вблизи центра событий, благоприятствовало ясности моих записей. Мне кажется, если бы я даже не была писателем, если бы я даже вовсе не умела писать, но видела бы, что видела, — я бы на-

училась писать и не могла бы не записывать.

Война всколыхнула петербургскую интеллигенцию, обострила политические интересы, обострив в то же время борьбу партий внутри. Либералы резко стали за войну, — и тем самым в какой-то мере за поддержку самодержавного правительства. Знаменитый «ддумский блок» был попыткой объединения левых либералов (ка-де) с более правыми — ради войны.

Другая часть интеллигенции была против войны, — более или менее; тут народилось бесчисленное множество оттенков. Для нас, не чистых политиков, людей не ослепленных сложностью внутренних нитей, для нас, не потерявших еще человеческого здравого смысла, — одно было ясно: война для России, при ее современном политическом положении, не может окончиться естественно; раньше конца ее — будет революция. Это предчувствие, — более, это *знание*, — разделяли с нами многие.

«... Будет, да, несомненно, — писала я в 16 году. — Но что будет? Она, революция, настоящая, нужная, верная, или безликое стихийное Оно, крах, — что будет? Если бы все мы с ясностью видели, что грозные события близко, при дверях, если бы все мы одинаково понимали, были готовы встретить их... может быть, они стали бы не крахом, а спасением нашим...»⁴. Но грозы этой не видели «реальные политики», те именно, которые во время войны одни что-то делали в Думе, как-то все-таки направляли курс — либералы. Во всяком случае они стояли за правительством; здание трещит, казалось нам, — и не должны они первые, своими руками, помочь разрушению того, что обречено разрушиться, чтобы сохранить нужное, чтобы не обвалилось все здание и не похоронило нас под обломками!

Но либералы всё правели, ожесточая крайние левые партии (у них была кое-какая связь с низами, хотя слабая, кажется), ожесточая даже и не самые крайние. Я помню, как однажды Керенский, говоря со мной по телефону после какой-то очень грубой ошибки думских лидеров, на мой горестный вопрос «что же теперь будет?» отве-

чал: «будет то, что начинается с а...», т. е. анархия; т. е. крах. «Оно».

Керенского мы знали давно. Он бывал у нас и до войны. Во время войны мы, кроме того, встречались с ним и в бесчисленных левых кружках интеллигенции. Мы любили Керенского. В нем было что-то живое, порывистое и — детское. Несмотря на свою истерическую нервность, он тогда казался нам дальновиднее и трезвее многих.

Было бы и трудно, и бесполезно, и даже скучно рассказывать здесь по памяти о тех страницах моего дневника, которых нет передо мною. Исторические события того времени в общих чертах — известны; мелких подробностей не припомнишь; а центр тяжести дневника, самый уклон его — такого рода, что вздумай я говорить о нем кратко — ничего бы не вышло. Дело в том, что меня, как писателя-беллетриста, по преимуществу занимали не одни исторические события, свидетелем которых я была; меня занимали главным образом *люди в них*. Занимал каждый человек, его образ, его личность, его роль в этой громадной трагедии, его сила, его падения, — его путь, его жизнь. Да, историю делают не люди... но и люди тоже, в какой-то мере. Если не видеть и не присматриваться к отдельным точкам в стихийном потоке революции, можно перестать все понимать. И чем меньше этих точек, отдельных личностей, — тем бессмысленнее, страшнее и *скучнее* становится историческое движение. Вот почему запись моя, продолжаясь, все более изменялась, пока не превратилась, к концу 19 года, в отрывочные, внешние, чисто фактические заметки. С воцарением большевиков — стал исчезать *человек* как единица. Не только исчез он с моего горизонта, из моих глаз; он вообще начал уничтожаться, принципиально и фактически. Мало-помалу исчезла сама революция, ибо исчезла всякая борьба. Где нет никакой борьбы, какая революция?

Что осталось — ушло в подполье. Но в такое глубокое, такое темное подполье, что уже ни звука оттуда не доносилось на поверхность. На

петербургских улицах, в петербургских домах в последнее время царяла пугающая тишина, молчание рабов, доведенных в рабстве разьединенности до совершенства.

Самодержавие; война; первые дни свободы; первые дни светлой, как влюбленность, февральской революции; затем дни первых опасений и сомнений... Керенский в своем взлете... Ленин, присланный из Германии⁵, встречаемый прожекторами... Июльское восстание... победа над ним, страшная, как поражение... Опять Керенский и люди, которые его окружают. Наконец, знаменитое К-С-К, т. е. Керенский, Савинков и Корнилов, вся эта потрясающая драма, которую довелось нам наблюдать с внутренней стороны. «Корниловский бунт», записали торопливые историки, простодушно поверив, что действительно *был* какой-то «корниловский бунт»⁶... И наконец — последний акт, молнии выстрелов на черном октябрьском небе.. Мы их видели с нашего балкона, слышали каждый.. Это обстрел Зимнего дворца, и мы знали, что стреляют в людей, мужественно и беспомощно запершихся там, покинутых всеми — даже «главой» своим — Керенским.

Временное правительство — да ведь это все те же *мы*, те же интеллигенты, люди, из которых каждый имел для нас свое *лицо*... (Я уже не говорю, что были там и люди, с нами лично связанные.) Вот движение, вот борьба, вот история.

А потом наступил конец. Последняя точка борьбы — Учредительное собрание⁷. Черные зимние вечера; наши друзья р. социалисты, недавние господа, — теперь приходящие к нам тайком, с поднятыми воротниками, загримированные... И последний вечер — последняя ночь, единственная ночь жизни Учредительного собрания, когда я подымала портьеры и вглядывалась в белую мглу сада, стараясь различить круглый купол дворца.. «Они там... Они все еще сидят там... Что — там?»

Лишь утром большевики решили, что довольно этой комедии. Матрос Железняков (он знаменит тем, что на митингах требовал непре-

менно «миллиона» голов буржуазии) объявил, что утомился и закрыл Собрание⁸.

Сколько ни было дальше выстрелов, убийств, смертей — все равно. Дальше — падение, то медленное, то быстрое, агония революции и ее смерть.

Жизнь все суживалась, суживалась, все стыла, каменела, — даже самое время точно каменело. Все короче становились мои записи. Что писать? Нет людей, нет событий. Новый «быт», страшный, небывалый, нечеловеческий, — но и он едва нарождался...

И все-таки я пыталась иногда раскрывать мои тетради, пока, к весне 19 года, это стало фактически невозможно. О существовании тетрадей пополз слух. О них знал Горький. Я рисковала не только собой и нашим домом: слишком много лиц было в моих тетрадях. Некоторые из них еще не погибли и не все были вне пределов досягаемости... А так как при большевистском режиме нет такого интимного уголка, нет такой частной квартиры, куда бы «власти» в любое время не могли ворваться (это лежит в самом принципе этих властей) — то мне оставалось одно: зарыть тетради в землю. Я это и сделала. Добрые люди взяли их и закопали где-то за городом, где — я не знаю точно⁹.

Такова история моей книги, моего «Петербургского Дневника» 1914—1919 годов.

Проходили — проползали месяцы. Уже давно была у нас не жизнь, а воистину «житие». Маленькая черная старая книжка валялась пустая на моем письменном столе. И я полуслучайно-полуневольно начала делать в ней какие-то отметки. Осторожные, невинные, без имен, иногда без чисел. Ведь даже когда не думаешь — все время чувствуешь, — там, в Совдепии, — что кто-то стоит у тебя за спиной и читает через плечо написанное.

А между тем все-таки писать было надо. Не хотелось, не умелось, но чувствовалось, что хоть два-три слова, две-три подробности — надо закрепить *сейчас*. И действительно: многое теперь, по воспоминанию, я просто не могла бы написать; я уж сама в это

почти не верю, оно мне кажется слишком фантастичным. Если б у меня не было этих листков, черных по белому, если б я в последнюю минуту не решилась на вполне безумный поступок — схватить их и спрятать в чемодан, с которым мы уезжали, — мне все казалось бы, что я преувеличиваю, что я лгу.

Но вот эти строки. Я помню, как я их писала. Я помню, как я, из осторожности, преуменьшала, скользила по фактам, — а не преувеличивала. Я вспоминаю недописанные слова, вижу нарочные буквы. Для меня эти скользящие строки — налиты кровью и живут, — ибо я знаю *воздух*, в котором они рождались. Увы, как мало они значат для тех, кто никогда не дышал этим густым, совсем особенным по тяжести, воздухом!

Я коснусь общей внешней обстановки, чтобы пояснить некоторые места, совсем непонятные.

К весне 19 года общее положение было такое: в силу бесчисленных (иногда противоречивых и спутанных, но всегда угрожающих) декретов, приблизительно все было «национализировано», — «большевизировано». Все считалось принадлежащим «государству» (большевикам). Не говоря о еще оставшихся фабриках и заводах, — но и все лавки, все магазины, все предприятия и учреждения, все дома, все недвижимости, почти все движимости (крупные) — все это по идее переходило в ведение и собственность государства. Декреты и направлялись в сторону воплощения этой идеи. Нельзя сказать, чтобы воплощение шло стройно. В конце концов это просто было желание прибрать все к своим рукам. И большею частью кончалось разрушением, уничтожением того, что объявлялось «национализированным». Захваченные магазины, предприятия и заводы закрывались; захват частной торговли повел к прекращению вообще всякой торговли, к закрытию всех магазинов и к страшному развитию торговли нелегальной, спекулятивной, воровской. На нее большевикам поневоле приходилось смотреть сквозь пальцы и лишь юридически громить и хватать покупающих-про-

дающих на улицах, в частных помещениях, на рынках; рынки, единственный источник питания решительно для всех (даже для большинства коммунистов) — тоже были нелегальщиной. Террористические налеты на рынки, со стрельбой и смертоубийством, кончались просто разграблением продовольствия в пользу отряда, который совершал налет. Продовольствия прежде всего, но так как нет вещи, которой нельзя встретить на рынке, — то забиралось и остальное, — старые олучи, ручки от дверей, драные штаны, бронзовые подсвечники, древнее бархатное евангелие, выкраденное из какого-нибудь книгохранилища, дамские рубашки, обивка мебели... Мебель тоже считалась собственностью государства, а так как под полой диван тащить нельзя, то люди сдирали обивку и норовили сбыть ее хоть за полфунта соломенного хлеба... Надо было видеть, как с вигами, воплями и стонами кидались торгующие врассыпную при слухе, что близки красноармейцы! Всякий хватал свою рухлядь, а часто, в суматохе, и чужую; бежали, толкались, лезли в пустые подвалы, в разбитые окна... Туда же спешили и покупатели, — ведь покупать в Совдепии не менее преступно, чем продавать, — хотя сам Зиновьев отлично знает, что без этого преступления Совдепия кончилась бы, за немением подданных, дней через 10.

Мы называли нашу «республику» не РСФСР, а, между прочим, «РТП» — республикой торгово-продажной. Так оно фактически и было.

Надо отметить главную характерную черту в Совдепии: есть факт, над каждым фактом есть — вывеска, и каждая вывеска — абсолютная ложь по отношению к факту. О том, что скрывается под вывеской «Советов» («выборного начала»), упоминается в моем дневнике.

Здесь скажу о петербургских домах. Эти полупустые, грязные руины, — собственность государства, — управляются так называемыми «комитетами домовый бедноты». Принцип ясен по вывеске. На деле же это вот что: власти в лице Чрезвычайки совершенно от-

крыто следят за комитетом каждого дома (была даже «неделя чистки комитетов»). По возможности комитетчиками назначаются «свои» люди, которые, при постоянном контакте с районным Совдепом (местным полицейским участком) могли бы делать и нужные доносы. Требуется, чтобы в комитетах не было «буржуев», но так как действительная «беднота» теперь именно «буржуи», то фактически комитеты состоят из лиц, находящихся на большевистской службе, или спекулянтов, т. е. менее всего из «бедноты». Нейтральные жильцы дома, рабочие или просто обывательские низы обыкновенно в комитет не попадают, да и не стремятся туда.

Бывают счастливые исключения. Например, в доме одного писателя — «очень хороший комитет, младший дворник, председатель, такой добрый... Он нас не притесняет, он понимает, что все это рано или поздно кончится...» А вот другой, очень известный мне дом: вечные доносы, вечное врывание в квартиры, вечное преследование «буржуазии» — такой, например, как три барышни, жившие вместе, две учительницы в большевистских школах (других нет) и третья — врач в большевистской (других нет) больнице¹⁰. Эту третью даже несколько раз арестовывали, то когда вообще всех врачей арестовывали, то по доносу комитетчика, который решил, что у нее какая-то подозрительная фамилия.

Наш дом около Таврического дворца был самым счастливым исключением из общего правила. И не случайно, а благодаря незабвенному другу нашему, удивительнейшему человеку, И. И.

На нем я должна остановиться. Он постоянно упоминается в моем Дневнике. Он, — и жена его¹¹, — люди, с которыми мы действительно вместе, почти не разлучаясь физически и душевно, переживали годы петербургской трагедии. Слишком много нужно бы говорить о нем, я не буду здесь вспоминать страницы моего зарытого дневника. Скажу лишь кратко, что И. И. — редкое сочетание очень серьезного ученого, известного своими творческими работами в Европе, — и деятельного человека жизни, отзывчивого и гу-

манного. Типичные черты русского интеллигента, — крайняя прямота, стойкость, непримиримость, — выразились у него не словесно, а именно действенно. Он жил по соседству с нами, но во время войны мы не были знакомы. Сочувствуя со дней юности партии, нам далекой — социал-демократической, — он сталкивался преимущественно с людьми, с которыми мы уже были в идейной борьбе. Правда, и у нас имелась некоторая связь через Горького: Горького мы знали давно, лет двадцать, он даже бывал у нас во время войны. Но мы не сходились никогда с Горьким, странная чуждость разделяла нас. Даже его несомненный литературный талант, сильный и неровный, которым мы порою восхищались, не сближал нас с ним. Впрочем, окружение Горького, постоянная толпа ничтожных и корыстных льстецов, которых он около себя терпел, отталкивала от него очень многих.

Эти льстецы обыкновенно даже не партийные люди; это просто литературные паразиты. Подобный «двор» — не редкость у русского писателя-самородка, имеющего громкий успех, если он притом слабохарактерен, некультурен и навивно-тщеславен.

Паразитов горьковских И. И. весьма не любил, но по доброте своей Горькому их прощал, а с партийными людьми горьковского круга вел давнее знакомство.

И в дни февральской революции, когда вокруг Думы, — вокруг Таврического дворца, — кипели и подымались человеческие волны, когда в нашу квартиру втекали, попутно, люди, более близкие нам, — у И. И. собирались другие¹², иного толка. Казалось, в первые дни, — что смешались все толки, что нет разделения; но оно уже было. И чем дальше, тем делалось резче. Во время июльского восстания, определенно с.-д.-большевистского, — у И. И. в квартире скрывались социал-демократы, еще не вполне примкнувшие к большевизму, но уже чувствующие, что у них рыльце в пушку. Известный когда-то лишь своему муравейнику литературно-партийный хлыщ — Луначарский, ставший с тех пор литературным хлыщом «всёя Сов-

депии», — во время июльского бунта жалобно прятался у давнего своего знакомого чуть не под кроватью¹³. И так «дрянно» трусил, так дрожал за свою особу, гадая, куда бы ему удрать, что внушил отвращение даже снисходительным его укрывателям.

Вскоре после этого восстания, когда линия большевиков ярко определилась, когда все честные люди из не потерявших разум ее совершенно поняли, мы встретились с И. И. и его женой. Встретились и сразу сошлись крепко и близко.

Надвигалась буря. Лед гудел и трещал. Действительно, скоро он сломался на куски, разделив прежде близких, и люди понеслись — куда? — на отдельных льдинах. Мы очутились на одной и той же льдине с И. И. Когда по месяцам нельзя было физически встретиться, даже переключнуться с давними, милыми друзьями, ибо нельзя было преодолеть черных пространств страшного города, — каким счастьем и помощью был стук в дверь и шаги человека, то же самое понимающего, так же чувствующего, о том же ревнующего, тем же страдающего, чем страдали мы!

Деятельная, творческая природа И. И. не позволяла ему глядеть на совершающееся сложа руки. Он вечно бегал, вечно за кого-то хлопотал, кому-то помогал, кого-то спасал. Он делал дела и крупные, и мелкие, ни от чего не отказывался, лишь бы кому-нибудь помочь. При всей своей непримиримости и кипучей ненависти к большевикам, при очень ясном взгляде на них — он не впадал в уныние: он до конца, — до дня нашей разлуки, — таким и остался: жарко верующим в Россию, верующим в ее неперенное и скорое освобождение. Зная все, что мы перенесли, какие темные глубины мы проходили, — я знаю, какая нужна сила духа и сила жизни, чтобы не потерять веру, чтобы устоять на ногах, — остаться *человеком*. С какой благодарностью обращается мысль моя к И. И. Он помог нам — он и его жена — более, чем сами они об этом думают.

Не могу не прибавить, что сильнее чувства благодарности по отношению к этим людям, а также к

другим, там оставшимся, там нечеловечески страдающим и погибающим, к миллионам людей с душой живой — сильнее всех чувств во мне говорит пламенное чувство долга. Я никогда не знала ранее, что оно может быть *пламенным*. Мы здесь; наши тела уже не в глубокой, темной яме, называемой Петербургом; — но не ради нашего избавления избавлены мы, нет у нас чувства избавления — и не может быть, пока звучат в ушах эти голоса оттуда, — *de profundis**. Каждая минута, когда мы не стремимся приблизить хотя на линию, на полмиллиметра освобождение сидящих в яме, — наш собственный провал, если есть эта минута, — не оправдано избавление наше, и да погибнем мы здесь, как погибли бы там. Все равно, сколько у каждого сил. Сколько бы ни было — он обязан положить их на дело погибающих — все.

И это говорю я не только себе, не только нам: говорю всякому русскому в Европе, даже всякому вообще *человеку*, если только он знает или может как-нибудь понять, что сейчас делается в России.

Я верю, что людям, достойным называться людьми, доступно и даже свойственно именно *пламенное* чувство долга...

Возвращаюсь, после невольного отступления, к фактам.

И. И. с самого начала пошел — «спасать квартиры от разграбления, жильцов от унижения». Сначала он был председателем одного из домовых комитетов, но затем его не утвердили — председателем стал старший дворник. Хитрый мужик, смекавший, что не век эта «ерунда» будет длиться и что соротиться ему с «господами» не расчет, — охотно уступал И. И. К тому же дворник более думал, как бы «спекулировать» без риска, и был малограмотен. Остальная «беднота», состоявшая уже окончательно из спекулирующих, воров (один шофер хапнул на 8 миллионов, попался и чуть не был расстрелян), тайных полицейских («чрезвычайных»), дезертиров, и т. д., благодаря тому же малограмотству и отсутствию интереса

* Из глубины (латинск.).

ко всему, кроме наживы, — эта «беднота» тоже не особенно восставала против энергичного И. И.

Надо все-таки видеть, что за колоссальная чепуха — домовой комитет. Противная, утомляющая работа, обходы неисполнимых декретов, извороты, чтобы отдалить ограбления, разговоры с тупыми посланцами из полиции... А вечные обыски! Как сейчас вижу длинную худую фигуру И. И. в стареньком пальто без воротника, в 4 часа ночи среди подозрительных, подслеповатых людей с винтовками и кучи баб — новых сыщиков и сыщиц. Это И. И. в качестве уполномоченного от «Комитета» сопровождает обыски уже в двадцатую квартиру.

Как известно, все население Петербурга взято «на учет». Всякий, так или иначе, обязан служить «государству», — занимать место если не в армии, то в каком-нибудь правительственном учреждении. Да ведь человек иначе и заработка никакого не может иметь. И почти вся оставшаяся интеллигенция очутилась в большевистских чиновниках. Платят за это ровно столько, чтобы умирать с голоду, медленно, а не быстро. К весне 19 года почти все наши знакомые изменились до неузнаваемости, точно другой человек стал. Опухшим — их было очень много — рекомендовалось есть картофель с кожурой, — но к весне картофель вообще исчез, исчезло даже наше лакомство — лепешки из картофельных шкурок. Тогда царила вобла, — и кажется я до смертного часа не забуду ее пронзительный, тошный запах, подымавший голову из каждой тарелки супа, из каждой котомки прохожего.

Новые чиновники, загнанные на службу голодом и плеткой, — русские интеллигентные люди, — не изменились, конечно, не стали большевиками. Водораздел между «склонившимися» и «сдавшимися», между служащими «за страх» и другими «за совесть» — всегда был очень ясен. Сдавшиеся, передавшие насчитываются единицами; они усердствуют, якшаются с комиссарами, говорят высокие слова о «народном гневзе», но менее ловкие все-таки голодают (я все говорю о «чиновниках», а не об откровен-

ных спекулянтах). Есть еще «приспособившиеся»; это просто люди обывательского типа; они тянут лямку, думая только о еде; не прочь извернуться, где могут, не прочь и ругнуть, за углом, «советскую» власть. Но к чести русской интеллигенции надо сказать, что громадная ее часть, подавляющее большинство, состоит именно из «склонившихся», из тех, что с великим страданием, со стиснутыми зубами несут чугунный крест жизни. Эти виноваты лишь в том, что они не герои, т. е. герои, но не активные. Они нейдут активно на немедленную смерть, свою и близких; но нести чугунный крест — тоже своего рода героизм, хотя и пассивное.

К ним надо причислить и почти всех офицеров красной армии, — бывших офицеров армии русской. Ведь когда офицеров мобилизуют (такие мобилизации объявлялись чуть не каждый месяц) — их сразу арестовывают; и не только самого офицера, но его жену, его детей, его мать, отца, сестер, братьев, даже двоюродных дядей и теток. Выдерживают офицера в тюрьме некоторое время непременно *вместе* с родственниками, чтобы понятно было, в чем дело, и если увидят, что офицер из «пассивных» героев — выпускают всех: офицера — в армию, родных — под неусыпный надзор. Горе, если прилетит от армейского комиссара донос на этого «военспеца» (как они называются). Едут дяди и тетки, — не говоря о жене с детьми, — куда-то на принудительные работы, а то и запираются в прежний каземат.

Среди офицеров, впрочем, не мало оказалось героев и активных. Этих расстреливали почти буквально на глазах жен. В моих листках приведены факты: они происходили на глазах близкого мне человека, женщины-врача, арестованной... за то, что у нее подозрительная фамилия.

Я веду вот к чему. Я хочу в грубых чертах определить, как разделяется сейчас *все население России вообще* по отношению к «советской» власти. Последние годы много дали нам; много видели мы со всех сторон, и я думаю, что не очень ошибусь в моей сводке. Делаю ее по главным линиям и со-

вершенно объективно. Они относятся ко второй половине 19 года; вряд ли могло в ней потом что-либо измениться коренным образом.

1) Собственно народ, низы, крестьяне, в деревнях и в красной армии, главная русская толща в подавляющем большинстве — нейтралы. По природе русский крестьянин — ярый частный собственник, по воспитанию (века длилось это воспитание!) — раб. Он хитер — но послушен, внешне, всякой силе, если почувствует, что это действительно грубая сила. Он будет молчать и ждать без конца, нороя за уголком устроиться по-своему, но лишь за уголком, у себя в уголке. Он еще весьма узко понимает и пространство, и время. Ему довольно безразличен «коммунизм», пока не коснулся его самого, пока это вообще какое-то «начальство». Если при этом начальстве можно забрать землю, разогнать помещиков и поспекулировать в городе — тем лучше. Но едва коммунистические лапы тянутся к деревне, — мужик ершится. Упрямство у него такое же бесконечное, как и терпение. Землю, захваченное добро он считает *своими*, никакие речи никаких «товарищей» не разбудят его. Он не хочет работать «на чужих ребят», и когда большевики стали посылать отряды, чтобы реквизирировать «излишки» — эти излишки исчезли, а где не были припрятаны — там мужики встретили реквизиторов с винтовками и даже с пулеметами. Вскоре мужик сообразил, что спокойнее выработать хлеба лишь столько, сколько надо для себя, его уж и защищать. И половина полей просто начала пустовать. Нахватанные керенки все зарываются да зарываются в кубышки; и вот мужик начинает хмуриться: да скоро ли время, чтобы свободно попользоваться накопленным богатством? Он ни минуты не сомневается, что «они» (большевики) кончатся; но когда? Пора бы... И «коммунист» — уже ругательное слово в деревне.

Воевать мужик так же не хочет, как не хотел при царе; и так же покоряется принудительному набору, как покорялся при царе. Кроме того, в деревне, особенно зимой, и делать нечего, и хлеб на счету; в красной же армии — обе-

щают паек, одевку, обувь; да и веселее там молодому парню, уже привыкшему лодырничать. На фронт — не всех же на фронт. Посланные на фронт покоряются, пока над ними зоркие очи комиссаров; но бегут кучами при малейшей возможности. Панике поддаются с легкостью удивляющей, и тогда берут слепо, невзирая ни на что. Веснами, едва пригреет солнышко, и можно в деревню, — бегут неудержимо и без паники: просто текут, прычась по лесам, органически превращаясь в «зеленых».

Большевики отлично все это знают. Прекрасно понимают своих подданных, свою армию, — учить-вают все. Но они так же прекрасно учитывают, что их враги — европейцы ли, собственные ли белые генералы, — ничего не понимают и ничего не знают. На этой слепоте, я полагаю, они и строят все свои главные надежды.

2) Рабочие? Пролетариат? Но собственно пролетариата в России почти не было и раньше, говорить же о нем сейчас, когда девять десятых фабрик закрылись, — просто смешно. Российские рабочие — те же крестьяне, и с закрытием заводов они расплылись — в деревню, в красную армию. За оставшимися в городах, на работающих фабриках, большевики следят особенно зорко, обращаются с ними и осторожно — и беспощадно. Периодически повторяются вспышки террора именно рабочего. И это понятно, ибо громадное большинство оставшихся рабочих уже почти не нейтрально, оно *враждебно* большевикам. Большевиком не по себе от этой, глухой пока, враждебности, и они ведут себя тут очень нервно: то заискивают, то неистовствуют. На официальных митингах все бродят какие-то искры, и порою достаточно одному взглянуть исподлобья, проворчать: «надоело уже все это...», чтобы заволновалось собрание, чтобы занозились одни ораторы, чтобы побежали другие черным ходом к своим автомобилям. Слишком понятна эта неудержимо растущая враждебность к большевикам в средней массе рабочих: беспросветный голод, несмотря на увеличение ставок («чего на эти ленинки купишь? Тыща тоже называется! Куча...») следует непе-

чатное слово), незаконные, расхищение, царящие на фабриках, разрушение производительного дела в корне, и, наконец, неслыханное количество безработных — все это слишком достаточные причины рабочего озлобления. Пассивного, как у большинства русских людей, и особенно бессильного, потому что «власти» особенно заботятся о разединении рабочих. Запрещены всякие организации, всякие сходки, сборища, митинги, кроме официально назначаемых. Сколько юрких сыщиков шныряет по фабрикам. Русские рабочие оцугились в таких ежовых рукавицах, какие им не снились при царе. Вывеска, — уверения, что их же рукавицы, — «рабочее» же правительство — на них более не действует и никого не обманывает.

3) Городское обывательское население, полунинтеллигентное, интеллигентно-чиновники, а также верхи и полuverхи красной армии, ее командный состав — об этом слое уже было упомянуто. Взятый *en gros* — он в подавляющем большинстве *непримирим* по отношению к «советской власти». Нейтралов сравнительно немного, да и нейтралами они могут быть названы лишь в той мере, в какой было названо нейтральным крестьянство. Под тончайшей пленкой — и у них, у нейтралов, лежит самая определенная враждебность к данной власти, — трусливая ненависть или презрение. С каким злорадством накидывается обывательщина, верхняя и нижняя, на всякую неудачу большевиков, с какой жадностью ловит слухи о их близком падении. Не раз и не два мне собственными ушами приходилось слышать, как ждуг освободителей: «хоть сам черт, хоть дьявол, — только бы пришли! И чего они там, союзники эти самые! Часок только и пострелять с моря, и готово дело! Уж мы бы тут злейшей нашей сволочи удрать не дали, — нет! Уж мы бы с ней тогда сами расправились!» Но этого «часочка стрельбы» настоящей не было, и разочарованные жители Петербурга после взрыва надежды молчаливо злобными взглядами провожают автомобиль. (Автомобиль — это, значит, едут большевики. Автомобилей других нет.

Вот моя сводка. И не моя вовсе — ее, такую, делают все в России, все знают, что в грубых и общих чертах отношение русского населения к большевистской власти именно таково. Я ничего не сказала о чистых спекулянтах. Но это не слои и не класс. Спекулянты, сколько бы их ни было, все-таки отдельные личности и принадлежат ко всем слоям и классам. Они, конечно, рады, что подвернулись такие роскошные условия — власть большевиков — для легкой наживы. Но, в целом, и на армию спекулянтов большевики не могут рассчитывать, как на твердую опору. Происходит та же приблизительно история, как с крестьянами. Кучи спекулянтов уже стонут: да когда же? Долго ли? Когда же попользоваться награбленным? А жить все дороже, грабить надо шире, значит и рисковать больше... Расчетливый спекулянт с таким же нетерпеливым ожиданием считает дни, как иной чиновник.

Да, вот факт, вот правда о России в немногих словах:

Россией сейчас распоряжается ничтожная кучка людей, к которой вся остальная часть населения, в громадном большинстве, относится отрицательно и даже враждебно. Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские и китайские полки (самые надежные) дорисовывают эту картину. Из латышей и монголов составлена личная охрана большевиков: китайцы расстреливают арестованных, — захваченных. (Чуть не написала «осужденных», но осужденных нет, ибо нет суда над захваченными. Их просто так расстреливают.) Китайские же полки или башкирские идут в тылу посланных в наступление красноармейцев, чтобы, когда они побегут (а они бегут!), встретить их пулеметным огнем и заставить повернуть.

Чем не монгольское иго?

Я знаю вопрос, который сам собой возникает после моих утверждений. Вот он: если все это правда, если это действительно власть кучки, беспримерное насилие меньшинства над таким большинством, как почти все население огромной страны, — почему нет внутреннего

переворота? Почему хозяйничанье большевиков длится уже почти три года? Как это возможно?

Это не только возможно — это даже не удивительно для того, кто знает Россию, русский народ, его историю, — и в то же время знает большевиков. Россия — страна всех возможностей, сказал кто-то. И страна всех невозможностей, прибавлю я. О причинах такой, на первый взгляд, неестественной нелепости — длящегося владычества кучки партийных людей, недавно подпольных, над огромным народом вопреки его воле — об этом я говорю много в моем дневнике. Почти весь он, пожалуй, об этом. Здесь подчеркну только еще раз; мы знаем, что это именно так и должно быть; но мы знаем еще, — и это страшно важно! — что малейший *внешний толчок*, малейший камешек, упавший на черную неподвижность сегодняшней России — произведет оглушительный взрыв. Ибо это чернота не болота, но чернота порохового погреба.

Никаких тут нет сомнений у большевиков. Никаких нет и не было сомнений у нас, всех остальных русских людей. Отсюда понятно, что переживали мы в мае 19 года, мы — и они, большевики. Они, впрочем, трусы, а у страха глаза велики; при одном лишь том факте, что наступает лето, делается возможным удар на Петербург, и все в городе ждали удара, — большевики засуетились, заволновались. А когда началось наступление с Ямбурга — паника их стала неопишима. Мы были гораздо скептичнее. Мы совершенно не знали, кто наступает, с какими силами, а главное — есть ли там, на Западе, какая-нибудь согласованность, есть ли *единая воля* у идущих, — воля дойти во что бы то ни стало. Для внешнего толчка, самого легкого, но вполне достаточного, чтобы опрокинуть центральную власть, это единство воли необходимо. Паника большевиков, цену которой мы знали, не доказывала еще, что общий удар на Петербург предreshен. Напряжение в городе, однако, все возрастало и ширилось.

Нельзя передать словами краску, запах, воздух в такие минуты

ожидания. Уже потому нельзя, что дни эти особенно тихи, молчаливы, никаких слов никто не говорит, да и зачем слова? Надо ждать и слушать; надо угадать, захватить мгновение... не переворота, а то последнее мгновение, когда можно сказать «пора»: когда можно встать действительно, за «тех» — против «этих».

Целые коллективы, по вывеске большевистские, в неусыпном напряжении ждали такой минуты. (Меня поймут, мне простят, конечно, мою бездоказательность и неопределенность: я пишу это в 20 году, во время *длящегося* царства большевиков.) Красноармейцы, посылаемые на фронт, были проще и разговорчивее: «мы до первого кордона. А там сейчас — на ту сторону». Помню их весело и глупо улыбающиеся лица.

События на Красной Горке (почти у самого Кронштадта)¹⁴ — неизвестны в подробностях; но, по всем вероятностям, это была ошибка, обман момента; слишком изменчивые ожидания люди сказали себе «пора!» — а было вовсе не пора. Да настоящего момента для внутреннего восстания тогда и совсем не было (как не было его и после, осенью, во время наступления Юденича). Не было, видим мы теперь, *единой воли* у идущих, не было ее еще ни разу... Будет ли когда-нибудь?

Майская эпопея скатилась, как волна, оставив после себя полосы опустошения; нас только сдавили, задушили новыми распоряжениями и декретами, новыми запрещениями и ограничениями — новые замки повесили на двери тюремные. Да цены сразу удвоились, так что волей-неволей приходилось думать о последней рубашке — когда, сегодня или завтра, снимать ее, чтоб послать на рынок.

Но думалось и об этом как-то тупо. Не уныние, а именно тупость начинала все больше овладевать всеми. Собственно наша внешняя жизнь изменялась так медленно и незаметно, что, на первый взгляд, вот тогда, весной 19 года, все было как бы то же: та же квартира, в кухне та же старенькая няня моя, та же преданная нам служанка, деревенская девушка, с отвращением и покорностью глядящая на

«этих коммунистов». Правда, пу-
стели полки с книгами, унесли пи-
анино, постепенно срывались занаве-
си с окон и дверей, а в кухне
бедная моя, едва живая старушка
тщето суетилась над полупустыми
горшками и бранилась с таинст-
венными личностями, на ухо обе-
щающими картофель по сто рублей
фунт. Кухня была у нас самое
оживленное место в квартире. Кого
там не приходилось мне видеть!
Кухонные митинги порою давали
нам очень живую информацию.

Все пустующая рабочая комната,
балкон, с которого, поверх зеленых
шапок Таврического сада можно
видеть главы страшного Смольного,

бледно-золотые в белую майскую
ночь, — о, какое странное томле-
ние, какая — словно предсмерт-
ная — тоска.

Тетрадей моих уже давно не
было. Давно уже они покоились
в могиле. Но вот тогда-то, в начале
июня, я и нашла черную книжку,
где стала делать не частые, крат-
кие отметки.

Я их печатаю здесь, как они
есть, в редких случаях прибавляя
несколько поясняющих слов. Я не
называю почти ни одного имени —
причины понятны, о них уже ска-
зано выше.

Продолжение следует

ПРИМЕЧАНИЯ МАРГАРИТЫ ПАВЛОВОЙ К «ИСТОРИИ МОЕГО ДНЕВНИКА»

1. **ФИЛОСОВОВ Дмитрий Владимиро-
вич** (1872—1940) — журналист, критик
ж. «Мир искусства»; соредатор Ме-
режковских по ж. «Новый путь» (1903—
1904), один из организаторов и актив-
ный участник Религиозно-философских
собраний. Годы 1906—1920-й провел со-
вместно с Мережковскими. В 1920-м
присоединился к Б. В. Савинкову, был
первым издателем в Варшаве русской
газеты «Свобода». После отъезда Ме-
режковских в Париж в окт. 1920-го
остался в Польше. Умер в Отводске
под Краковом.

2. **САВИНКОВ Борис Викторович**
(псевд.: В. Ропшин, 1879—1925). Член
боевой организации партии эсеров
(ПСР), состоял в ЦК партии. Участво-
вал в нескольких террористических ак-
тах (в убийстве министра внутренних
дел В. К. Плеве; Вел. кн. Сергея
Александровича; в покушении на адм.
Ф. В. Дубасова, в нескольких неудав-
шихся покушениях на Николая II). С
1911 по 1917 г. жил за границей. Автор
книг: «Конь бледный», «То, чего не
было». «Записки террориста», «Во
Франции во время войны» и др., сбор-
ника стихов.

В 1917 г. (июль) — управляющий
военным министерством; во время Ко-
рниловского мятежа принял пост петро-
градского военного генерал-губернатора;
после выступления Корнилова уволен в
отставку; тогда же был исключен из
ПСР.

Участник белогвардейского движения.
В 1918 г. организовал общество «Союз
защиты родины и свободы». В 1919 г.
представлял правительство адмирала
А. В. Колчака в Париже; в 1920 г. —
в Варшаве, во главе Русского полити-
ческого комитета для борьбы с боль-
шевиками.

З. Н. Гиппиус и Б. В. Савинкова
связывала многолетняя дружба, они по-
знакомились за границей около 1908 г.
и затем встречались в Париже и на
Ривьере. (Подробнее об истории их
отношений см.: Пахмусс Т. Переписка

З. Н. Гиппиус и Б. В. Савинкова //
Воздушные пути. В. Нью-Йорк, 1967,
с. 161—167 и в кн.: Злобин В. А. Тя-
желая душа. Вашингтон, 1970.)

3. С 1913 г. Мережковские жили в
доме № 83 по улице Сергиевской (ны-
не — ул. Чайковского). Дом сохра-
нился. В квартире, занимаемой некогда
ими, ныне коммунальная квартира.

4. Гиппиус цитирует свою декабрь-
скую запись 1916 г. из «Синей книги»
(дневник 1914—1917). — См.: Гиппиус З.
Петербургские дневники, Нью-Йорк,
1990, с. 67.

5 В июле 1917 г. в газ. «Живое слово»
были опубликованы документы, указы-
вающие на связи большевиков Я. С. Га-
нецкого (Фюрстенберга) и М. Ю. Ко-
зловского с Парвусом (А. Л. Гельфан-
дом), немецким социал-демократом,
своих связей с германским министер-
ством иностранных дел не скрывавшим.
В тексте говорилось о сделке В. И. Ле-
нина и Л. Д. Троцкого с представи-
телями германского генерального штаба.
См.: Рабинович А. Большевики прихо-
дят к власти. М., 1989, с. 44. См.
также: Мельгунов С. П. Золотой не-
мецкий ключ большевиков, Нью-Йорк,
1989.

6. Политическая ситуация, сложивша-
яся в августе 1917-го, неоднократно а-
нализировалась Мережковскими и Фило-
софовым, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные попытки Гиппиус в дневнике
и письмах указать причину провала
правительства А. Ф. Керенского. Бла-
годаря близкому знакомству с Б. В. Са-
винковым (см. п. 2) драматическая си-
туация «К-С-К» была известна Мереж-
ковским «с внутренней стороны».
11 сент. 1917 г. Д. В. Философов за-
писал в своем дневнике: «8 августа мы
приехали из Кисловодска и опять свер-
нулись в «петроградскую» пучину... Бо-
рис приехал к нам 8-го вечером... Весь
этот месяц он бывал у нас почти каж-
дый вечер, исключая период корнилов-
щины, когда мы были здесь, на даче.
Следовательно, перед нами прошла вся

его первая отставка и первое восстановление «в правах», а затем и «падение» после Корнилова» (ОР ГПБ. Ф. 814. Ед. хр. 2).

Подробно августовские события в Ставке (история отстранения Керенским ген. Л. Г. Корнилова) описаны в кн. Гиппиус З. «Петербургские дневники. 1914—1919» (Нью-Йорк, 1990, с. 161—175), а также в ее письме к редактору газеты «День» А. Н. Потресову (Звезда, 1933, № 4, с. 183—190). Гиппиус, в частности, писала Потресову: «Мятеж Корнилова» — это была та фальшивая кредитка, на которой большевики, с помощью новожизнцев и черновцев, выиграли свое громадное состояние. Они тотчас поняли, какая она «счастливая». Поддельная — не все ли равно? Поддельная, — ибо никакого Корниловского мятежа просто не было.

Знаменитые «манifestы» Корнилова несколько не разрушают этого положения. Всякий, имеющий о Корнилове понятие (да и не имеющий, пожалуй), совершенно ясно представит себе, что главнокоманд. генерал, ни с того, ни с сего (буквально) получающий известие, что он «мятежник-изменник» и, как таковой, смещается с должности, может только подумать возмутиться или решить, что кто-то сошел с ума. Безомновно сдать должность — это значит было признать себя «изменником». Телеграмма Керенского к нему была сплошной ложью, — он так и сказал: «является сплошной ложью». Он и после «провокации» не сделался мятежником, как не был им до провокации: никуда войск не «повел», как не вел, и даже, убедившись, что попал в роковой узел, счел за лучшее ему отдалиться: у него оставалась (идеалистическая, — ведь он не политик!) надежда на гласность суда, где нелепое дело тотчас выяснилось бы. Несмотря на «куловки» Кер., он отлично мог бы убежать. И убежал бы, если б не был: 1) просто солдатом-идеалистом, 2) не был столь неуязвимым к черным элементам Ставки. Эти элементы существовали (Лукомский, Заойко), но до удивительности никогда не имели на Корнилова никакого влияния.

Единственная мелочь, оставшаяся непонятой со стороны Корнилова (единственная!): несмотря на просьбу Керенского, переданную через Савинкова 25 августа: не посылать среди вызываемых войск «дикой» дивизии и Крымова — он послал и дикую дивизию, и Крымова <...>».

7. Учредительное собрание заседало в Таврическом дворце 5 (18) января 1918 г. Разогнано в пятом часу утра 6 (19) января.

8. **ЖЕЛЕЗНЯКОВ** (*Железников*) *Анатолий Григорьевич* (1895—1919). В янв. 1918 г. — начальник караула Таврического дворца.

9. Речь идет о «Черных тетрадах», переданных Философовым в 1919 г. перед отъездом из Петрограда в Публичную библиотеку, т. е. о дневнике 1917—1919 гг.

10. Вероятно, З. Гиппиус имеет в виду своих младших сестер: Наталью и Татьяну.

Татьяна Николаевна Гиппиус (1877—1957) окончила художественное училище при Академии художеств, получила звание «свободного художника». В 1910-е гг. преподавала в частной школе

и детском саду Шидловской. Многие годы занималась книжной иллюстрацией.

Наталья Николаевна Гиппиус (1880—1963) окончила Академию художеств по классу скульптуры, постоянно жила с сестрой Татьяной Николаевной. (Сестры остались на родине.)

Вместе с ними в это время жила Елизавета Владимировна Карташева — врач, сестра Антона Владимировича Карташева (1875—1960). Карташев был профессором Духовной академии. С 1906 г. — преподаватель Высших женских курсов, с 1912 г. — председатель Петербургского (Петроградского) РФО. В 1900-е гг. и в начале 1910-х был особенно близок с Мережковскими, входил в их моленную общину, многие годы провел вместе с сестрами З. Н. Гиппиус — Татьяной и Натальей. В 1917 г. — министр исповеданий в правительстве Керенского. После Октябрьской революции находился под арестом в Петропавловской крепости. После освобождения — активный участник контрреволюционной организации «Национальный центр».

11. **МАНУХИН** *Иван Иванович* (1882—1930) — известный русский врач, доктор медицины; с 1920 г. в эмиграции. Манухина, Татьяна Ивановна (псевд. Т. Таманин. 1885—1962).

12. В «Записках о революции» Н. Н. Суханов (Гиммер) вспоминал о своих посещениях Манухина весной 1917 г.: «...Эти обеды у меня уже вошли в обычай, и, вероятно, не меньше двух раз в неделю, между заседаниями Исполнительного комитета, я забегал обедать в этот сверххрадущий дом, притом зачастую и не один. Манухин любил, когда со мною приходили разные деятели Исп. комитета, и набрасывался на них с расспросами, не менее ожесточенно, чем они — на бед (См.: Суханов Н. Н. / Гиммер/. Записки о революции. Пг. 1922—1923, т. 3, с. 148).

13. См.: Манухин И. И. Воспоминания о 1917—1918 гг. — Новый журнал, 1963, № 73, с. 187. Манухин вспоминал: «4 или 5 июля вечером, около 11 часов, в передней раздался несмелый звонок. <...> Я пошел в переднюю — и открыл дверь... Передо мною стоял — Луначарский... Измученный, бледный, видимо, очень усталый. «Я прошу вас, дайте мне у вас переночевать, — взволнованно сказал он, — я до сих пор никак не мог устроиться, бежал, бежал... Я вспомнил о вас — ведь вы вызывали меня в крепость...» <...> Эту ночь Луначарский спал у нас в кабинете жены, на ее маленьком диване. Утром он ушел очень рано, по соображениям конспирации».

14. Антисоветский мятеж в форте Красная Горка, защищавшем подступы к Петрограду, вспыхнул 13 июня. Мятеж был подготовлен офицерами по заданию «Национального центра». Мятежники заняли штаб. советские учреждения, телеграф, помещения ЧК, арестовали около 350 человек. Затем они открыли огонь по Кронштадту, требуя, чтобы кронштадтцы присоединились к мятежу и сдали крепость. Одновременно начались бунты в фортах Серая Лошадь и Обручев; создалась угрожающая ситуация для Петрограда.

Одним из участников подготовки восстания был А. В. Карташев.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Здравствуйте! Потрясена вашей публикацией в шестом номере «Даугавы» за 1990 год «Ромодановские дворики» Игоря Галеева и нахожу ее революционной. Думаю, вы сделали большое дело, опубликовав никому неизвестного автора, человека, бросившего вызов литературной мафии.

Везде говорят и пишут о сложном положении в «молодой» литературе, что ее якобы нет, «не успела сформироваться», что молодые инфантильны... Но нигде не говорят о том, что ситуация в литературе так же безобразна, как и в нашем обществе. По-моему, очевидно, что сегодня это одна из самых консервативных авторитарных систем, направленная против всего живого и талантливого. Все эти союзы писателей нужны только самим «писателям», превратившим свободное творчество в профессию, в средство зарабатывания денег, все равно как сапожники или монтажники или кто угодно, всем, отжившим свое и лицемерно пекущимся о гуманизме и молодых талантах.

Конечно, сейчас другие времена, и эти самые таланты не нужно уничтожать физически, высылать за границу или устраивать над ними показательные расправы в духе той, что была организована над Пастернаком. Их достаточно просто не замечать, «отфутболивать». И это самое страшное. Нас хотят лишить будущего... И огромное спасибо вам за то, что вы это будущее поддерживаете, пусть и в «единственном числе».

Настораживает только, что публикация неполная (всего 12 этюдов, хотя ваш журнал бесцензурный) и что вы не высказали свое мнение, как бы открылись от нее, публикации (или от него, автора?). Хотелось бы побольше узнать об этом человеке и познакомиться с его творчеством подробней. Надеюсь, что вы не оставите его без поддержки.

Ваша постоянная читательница Ирина САМБУРОВА, Москва.

Право же, далеко не все письма, содержащие добрый отзыв о журнале, мы предаем гласности, и эти два письма мы публикуем прежде всего потому, что похвалы адресованы главным образом нашему автору. Сотрудничество с И. Галеевым журнал намерен продолжить.

Технический редактор
Мудите АРАЯ
Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ

Сдано в набор 08.02.91
Подписано к печати 28.03.91. Л-000054.
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1. Высокая печать.
5,0+0,25 усл.-печ. л. 5,25 усл. кр.-отт.,
7,77 уч.-изд. л. Тираж 26 000
Заказ № 151-1,4. Подписная цена 90 коп.
Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП.
Отпечатано в тип. «Рота».
Рига, ул. Блауманя, 38/40.

90 КОП.

ИНДЕКС 77123